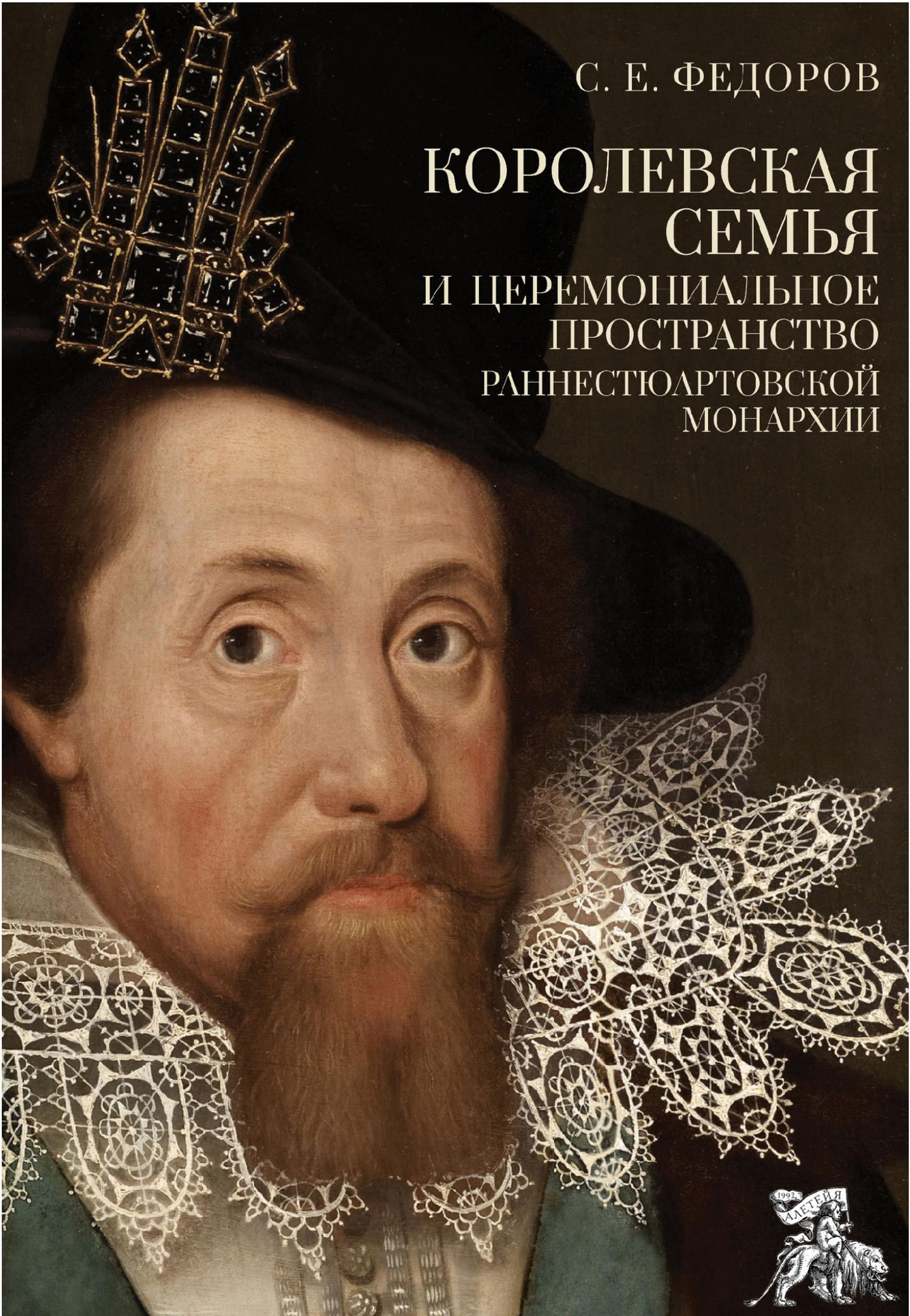


С. Е. ФЕДОРОВ

КОРОЛЕВСКАЯ  
СЕМЬЯ  
И ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО  
РАННЕСТЮАРТОВСКОЙ  
МОНАРХИИ



Сергей Федоров

**Королевская семья и  
церемониальное пространство  
раннестюартовской монархии**

«Алетейя»

2018

УДК 94(410).06  
ББК 63.3(4Вел)51

**Федоров С. Е.**

Королевская семья и церемониальное пространство  
раннестюартовской монархии / С. Е. Федоров — «Алетейя»,  
2018

ISBN 978-5-907030-68-8

Издание рассматривает церемониальное пространство английского королевского двора при Якове I в контексте династического строительства первых Стюартов и становления композитарной монархии. Анализ структуры церемониального взаимодействия между членами королевского семейства рассматривается как ключ к пониманию фундаментальных принципов организации власти в Англии раннего Нового времени. Издание ориентировано на историков, социологов и широкий круг читателей, интересующихся историей Англии.

УДК 94(410).06  
ББК 63.3(4Вел)51

ISBN 978-5-907030-68-8

© Федоров С. Е., 2018  
© Алетейя, 2018

## Содержание

Двор династии Стюартов: взгляд из Петербурга	6
«Restored to the whole Empire & name of great Briteigne»:	12
композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах[11]	
«Domus regis» и «familia regis» в раннее Новое время[64]	29
Титулованная знать и высшие государственные чины в дискурсе официальных протоколов и регламентов[116]	40
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Сергей Федоров

## Королевская семья и церемониальное пространство раннестюартовской монархии

### Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор *Т. Л. Лабутина*

кандидат исторических наук, доцент *Е. А. Терентьева*

© С. Е. Федоров, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

\*\*\*



## Двор династии Стюартов: взгляд из Петербурга

Феномен королевского двора – не уникальное, но исключительное по яркости и смысловой содержательности и репрезентативности явление, ставшее открытием для научного сообщества и исторической науки в середине и второй половине XX столетия. Будучи особо значимой темой в условиях монархической формы политической организации социума, на этапе убедительной победы республиканизма двор был забыт как объект научного изучения и интереса в Европе XIX – начала XX века, став неактуальной и даже «запретной» темой в условиях «официального» марксизма в отечественной медиевистике. Потребовались значительные усилия научного сообщества по оформлению новой философии истории и обновлению исторического знания, которые сломали эту традицию, изменив оценки фактора сознания в историческом процессе и обеспечив более гибкое понимание соотношения объективного и субъективного начал в последнем. Это позволило увидеть и оценить исключительные эвристические возможности королевского двора как объекта исследования, значительно обогатив и углубив не только картину средневековой истории, но понимание таких вневременных явлений, как феномен политической власти, формы властвования в контексте социологического анализа, его роль в оформлении института государственности, и, более того, выход темы за рамки только политической истории в разнообразный и креативный характер исторического процесса в целом. В их ряду такая проблема как придворная «матрица» средневековой государственности в виде *seigneurie banale*, ставшей королевской курией и далее – политическим центром социума, с последующей исключительной ролью в институционализации и усложнении государственного строительства; любопытная переключка организационной структуры двора и государственного механизма в процессе трансформации патримониальной природы политической организации социума в публично-правовое государство. Двор конституировал социальную реальность, позволяя понять формирование социальной базы власти, в частности значимость личностного компонента в качестве средства властвования. И, наконец, казалось бы, существует совершенно неожиданный извод темы двора как культурно-исторического феномена. В этом последнем случае содержательное наполнение процедур репрезентации власти, организатором которых выступил двор, оказывались не только знаком причудливого симбиоза символических и секуляризированных форм средневекового сознания, но средствами властвования, которые решали двойную задачу – демонстрации великолепия, недостижимости и вечности власти с одной стороны, и с другой – готовности власти (весьма условную) к диалогу с обществом.

Российские медиевисты включились в процесс придворных исследований сравнительно недавно. Перспективы, которые открывались для российских историков в сфере изучения потестарных отношений и структур, этими отношениями формируемых, впервые были освещены в работе «Достижения, потери и перспективы отечественной медиевистики»<sup>1</sup>, вышедшей в свет в 1995 году. Статья стала своего рода манифестом рабочей группы «Власть и общество». Целью группы, которая плодотворно работает и сегодня, было не только догнать главного конкурента – сильно опережавшие российскую медиевистику западноевропейские потестарные исследования, но и перенести на изучение властных – в том числе и придворных штудий ту научную стилистику, которая является характерной для традиций советской и российской исторической школы в целом. Речь идет, прежде всего, о стремлении к постановке фундаментальных проблем и обобщений, которые в перспективе позволяют реконструировать законо-

---

<sup>1</sup> Хачатурян Н. А. Достижения, потери и перспективы отечественной медиевистики (по материалам направления политической истории западноевропейского Средневековья) // Бюллетень Всероссийской Ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени. 1995. № 6. С. 5–10.

мерности экономического, социального и культурного развития; словом, об элементе метафизики в отечественной науке.

В составе группы «Власть и общество», призванной объединить ученых из разных регионов России, тем не менее, ведущими были и остаются московская и петербургская школы медиевистов. Благодаря публикациям С. Е. Федорова петербургской школе, базирующейся на кафедре истории Средних веков Института истории СПбГУ, удалось перехватить у москвичей пальму хронологического первенства: в 1996 году две статьи («Альтернативный» двор в раннестюартовской Англии: принц Уэльский и его окружение в 1605–1612 гг.»<sup>2</sup> и «Бытовое поведение стюартовской аристократии»<sup>3</sup>) стали первыми в российской медиевистике работами, разработавшими конкретные сюжеты функционирования придворного общества. В 1997 году в коллективной монографии «Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество»<sup>4</sup> придворные рассматривались как социопрофессиональная группа, становление которой было во многом аналогично становлению социопрофессиональных сообществ юристов, врачей, духовенства и т. д. Невозможно не отметить и тот факт, что петербургские придворные исследования с самого момента своего зарождения сохраняют яркий и устойчивый английский акцент, в то время как медиевисты столицы более охотно обращаются к истории континентальных (французского, бургундского, имперского) дворов.

В 2001 году публикация коллективной монографии «Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда»<sup>5</sup> обозначила первые промежуточные итоги работы петербургских, московских и региональных «двористов» и выявила впечатляюще широкий круг сюжетов, которые отечественные ученые успели освоить за неполные пять лет. Исследованиям по истории европейских дворов отведено значительное место и в коллективных монографиях, публиковавшихся по результатам конференций группы «Власть и общество», в 2004<sup>6</sup>, 2006<sup>7</sup>, 2008<sup>8</sup> годах. Помимо совместной работы с МГУ и ИВИ РАН петербургские медиевисты плодотворно занимались строительством собственной «придворной» школы. Ряд парных докладов докладов С. Е. Федорова и А. Ю. Прокопьева о церемониале жизненного цикла английских монархов и немецких князей на кафедре истории Средних веков СПбГУ, конференция петербургских историков «Нобилитет в истории старой Европы»<sup>9</sup>, по результатам которой в 2010 году был издан сборник статей – все это стимулировало развитие среди петербуржцев интереса к освоению новых горизонтов в микрокосме королевского двора. Наконец, публикация монографии «Королевский двор в Англии XV–XVII веков»<sup>10</sup> в 2011 году стала неоспоримым свидетельством того, что под руководством С. Е. Федорова в Санкт-Петербурге выросла полноценная школа исследователей английского двора; интересы ее участников распространяются не только на двор первых Стюартов, но на более широкий хронологический отрезок: от двора поздних Ланкастеров в XV столетии вплоть до начала Великого Мятажа. Под науч-

---

<sup>2</sup> Федоров С. Е. Альтернативный» двор в раннестюартовской Англии: принц Уэльский и его окружение в 1605–1612 гг. // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 1996. № 1. С. 89–99.

<sup>3</sup> Федоров С. Е. Бытовое поведение стюартовской аристократии // Кунсткамера. Этнографические тетради. 1996. № 10. С. 130.

<sup>4</sup> Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество / С. Е. Федоров, С. В. Кондратьев, Г. Н. Питулько; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб.: Образование, 1997.

<sup>5</sup> Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда. СПб.: Алетейя, 2001.

<sup>6</sup> Королевский двор в политической культуре средневековой Европы: Теория. Символика. Церемониал / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2004.

<sup>7</sup> Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2006.

<sup>8</sup> Власть, общество, индивид в Средние века и раннее Новое время / под ред. Н. А. Хачатурян. М.: Наука, 2008.

<sup>9</sup> Нобилитет в истории старой Европы / под ред. С. Е. Федорова и А. Ю. Прокопьева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2010.

<sup>10</sup> Королевский двор в Англии XV–XVII веков / под ред. С. Е. Федорова. Труды исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Том 7. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011.

ным руководством С. Е. Федорова было защищено восемь кандидатских диссертаций на придворную тематику: это диссертации В. С. Ковина «Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603–1625 гг.» (СПб., 1999); Н. А. Журавель «Граф Лестер и католическая оппозиция при Елизавете I Тюдор» (СПб., 2000); М. А. Буланаковой «Знатная женщина и стюартовское общество в Англии XVII в.» (СПб., 2002); Е. И. Эциной «Идейно-политические основы раннестюартовской монархии» (СПб., 2006); В. А. Ковалева «Королевский церемониал ранних Стюартов» (СПб., 2006); С. В. Бурова «Королевский двор и политическая борьба в Англии во второй половине двадцатых – тридцатых годов XVII века» (СПб., 2009); И. Г. Моиссева «Орден Подвязки в конце XVI – начале XVII века». (СПб., 2011); Е. А. Бакалдиной «Английский королевский двор при Эдуарде IV. Институты, слуги, церемониал» (СПб., 2011). Самое молодое поколение «двористов» представляет С. С. Меднис, которая успешно изучает коронационный церемониал Елизаветы Тюдор.

Настоящее издание было инициировано и подготовлено группой учеников С. Е. Федорова – аспирантами Института истории СПбГУ К. В. Перепечкиным, Ф. Е. Левиним, к. и. н. Б. И. Ключко, д. и. н. А. А. Паламарчук и магистрантом Института истории Е. Г. Тишуниним. Хотя в этом году С. Е. Федорову исполнилось 55 лет, издание не планировалось в качестве юбилейного. В статьях разных лет, охватывающих более чем двадцатилетний период и впервые собранных под одной обложкой, мы старались, с одной стороны, отразить различные этапы становления ученого, с другой – продемонстрировать разнообразие подходов к осмыслению придворной тематики. Эта книга является также благодарностью за многолетнее научное руководство и человеческое наставничество.

Многоплановость исследований вообще является характерной особенностью авторского научного почерка Сергея Егоровича. На первом этапе изучение придворной темы в ее конкретных измерениях проходило под влиянием тех методов, которые были предложены его оксфордским наставником проф. Дж. Эйлмером. Речь шла о рассмотрении раннестюартовского придворного общества как зеркала более общих социальных трансформаций, зеркала эпохи, в которой социально значимые приоритеты, ценности и структуры в конечном счете определяли вектор изменения механизмов государственного управления. В преимущественно социальном ключе чуть позднее была осмыслена и проблематика гендерного (феномен «мужского» и «женского» двора, взаимоотношения между супругами как условно «политический» фактор и т. д.): частное пространство семьи первых двух Стюартов оказывалось тем измерением, в котором наиболее эффективно разрешились в том числе и политические проблемы, стоящие перед верховной властью. Ученики С. Е. Федорова прекрасно помнят, какой огромный интерес вызвало обсуждение на «Тюдоро-стюартовском семинаре» методологии дискурс-анализа, в самом начале XXI столетия еще достаточно мало известного для отечественного научного сообщества. Изучение антикварного дискурса с использованием богатейшего лексикографического материала эпохи ранних Стюартов позволило рассматривать двор и придворное общество не только как место диалога между властью и элитами, но как место формирования специфического языка власти, как литературного, так и изобразительного. Наконец, оригинальным этапом в творчестве С. Е. Федорова стало рассмотрение придворной тематики в контексте становления композитарной монархии.

Формирование устойчивой и постоянно пополняющей свои ряды группы петербургских двористов-англоведов стало возможным не только благодаря очевидной притягательности и востребованности «придворных» сюжетов, но и благодаря той черте, которую неизменно отмечают ученики С. Е. Федорова – исследовательской щедрости их научного руководителя. Открытие нового комплекса источников, новаторского подхода или неожиданной темы легко может заронить в душу ученого искушение навечно закрепить ее за собой и остаться бессменным монополистом. Сергей Егорович в этом отношении остается человеком, который щедро делится с учениками всех возрастов своими открытиями и, постоянно открывая новое для

себя, немедленно вовлекает младших коллег в освоение все более заманчивых перспектив. Вне всякого сомнения, самые интересные методологические находки у С. Е. Федорова и его учеников впереди, а созданная им школа будет и далее плодотворно сохранять баланс между самыми актуальными новациями Запада и традициями российской медиевистики.







## «Restored to the whole Empire & name of great Briteigne»: композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах<sup>11</sup>

Формирование раннестюартовской композитарной монархии<sup>12</sup> стало результатом длительных процессов, характеризовавших историю Британских островов на протяжении почти тысячелетия. Берущее свои истоки в политических коллизиях англо-саксонских королевств, периоде правления Нормандской династии, имперских амбициях XIII–XV столетий<sup>13</sup>, с одной стороны, и затяжном англо-шотландском противостоянии – с другой, составное британское государство обретает свои окончательные границы с воцарением Стюартов. Именно тогда неотъемлемой частью британского государства становится Шотландия, территориальное соперничество двух соседствующих композитарных монархий теряет былой смысл, а некогда непримиримые имперские притязания унифицируются. Складывается тот тип государственного объединения, о котором мечтала еще тюдоровская пропаганда<sup>14</sup>. Раннестюартовская композитарная монархия<sup>15</sup> была, таким образом, прямым воплощением популярной со времен Генриха VIII гальфридианской идеи, а ее территориально-административное устройство напрямую реализовывало контуры восходящего к XII столетию мифа<sup>16</sup>.

\* \* \*

Материализация гальфридианской идеи определялась, с одной стороны, вполне объяснимой коллизией между имперским и монархическим концептами в осознании процессов государственного строительства. С другой – очевидной ограниченностью инструментальной базы

---

<sup>11</sup> Оригинальная публикация: Федоров С. Е. «Restored to the Whole Empire & Name of Great Briteigne»: композитарная монархия и ее границы при первых Стюартах // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / отв. ред. и сост. Н. А. Хачатурян. М., 2011. С. 202–225.

<sup>12</sup> О понятии «композит» и «композитарная монархия» см.: *Elliott J. A Europe of Composite Monarchies // Past & Present*. 1992. № 137. P. 48–71.

<sup>13</sup> *Maden A. 1066, 1776 and All That: The Relevance of English Medieval Experience of «Empire» to Later Imperial Constitutional Issues // Perspectives of Empire: Essays Presented to Gerald S. Graham / ed. by J. Flint, G. Williams. London, 1973. P. 9–26.*

<sup>14</sup> Известно, что сначала Генрих VIII, а затем и лорд-протектор Сомерсет усматривали в подчинении Шотландии основу усиления английских позиций на британских островах и залог успешного распространения протестантизма. При этом Сомерсет настаивал на том, что подобные усилия не приведут к созданию новой монархии на островах, но всего лишь восстановят в прежних пределах древнюю – называвшуюся некогда «Великой Британией» монархию. Сторонники Сомерсета в англо-шотландских войнах 1543–1546 и 1547–1550 годов усматривали истоки британской (имперской) идеи в раннем Средневековье, причем в том его виде, в каком этот период британской истории был изложен Гальфридом Монмутским (*Head D. Henry VIII's Scottish Policy: A Reassessment // Scottish Historical Review*. 1982. Vol. 61. P. 2; *Marriman M. War and Propaganda during the «Rough Wooing» // Scottish Tradition*. 1979–1980. Vol. 9-10. P. 20–30; *Mason R. The Scottish Reformation and the Origins of Anglo-British Imperialism // Scots and Britons: Scottish Political Thought and the Union of 1603 / ed. by R. Mason. Cambridge, 1994. P. 168–178.*

<sup>15</sup> *Russell C. The Fall of the British Monarchies, 1637–1642. Oxford, 1991; The New British History: Founding a Modern State, 1603–1715 / ed. by G. Burgess. London, 1999.*

<sup>16</sup> Согласно его версии, созданная тогда империя была собственно «британской», поскольку ее основателем был Брут, и эта же империя превращается в подобие композитарной монархии после его смерти, оставаясь разделенной между его тремя сыновьями. Старший из них – Локрин, управляя Англией достиг невероятных успехов, при этом его младшие братья Альбанакт и Камбер, получившие по наследству Шотландию и Ирландию соответственно, признавая его достижения, принесли ему оммаж и тем самым признали главенство английского трона. Идея превосходства, подпитанная идеей старшинства, определила таким образом дальнейшую перспективу уже пост-брутской композитарной монархии. Более подробно об этом: *Mason R. Scotchng the Brute: Politics, History and National Myth in Sixteenth-Century Britain // Scotland and England, 1286–1815. Edinburgh, 1987. P. 113–138.*

тех интеллектуальных групп, которые, как представляется, были нацелены на преодоление этой коллизии.

Несмотря на то, что уже Фома Аквинский воспринимал понятие «*regnum*» как синоним справедливого единоличного правления, идущая от него традиция предпочитала подчеркивать, что для любого легитимного монархического строя важнейшим, если не единственным, принципом остается не столько сама организация верховной власти, сколько ее пространственная «протяженность» или «экстенсивность» власти. При этом в толковании основного смысла «*imperium*» хотя и присутствовали пространственно-географические элементы, на первый план выдвигались идеи, подчеркивавшие его статус, как особого достоинства, трансформируемого не столько на межличностном, сколько на трансперсональном уровне. В этом смысле доминировало представление об отсутствовавшей в первом варианте своеобразной «интенсивности» верховной власти.

Трансперсональный характер основного значения «*imperium*» сочетался, как правило, с определенной миссией, которой наделенный таким особым достоинством народ облачал, помимо прочих обязанностей, своих государей. Так имперское достоинство, изменяя в очередной раз своего носителя, персонифицировалось. В подобных трансформациях различались две фазы, означавшие фактическую и правовую (юридическую) стадии такого процесса, но только вариант *de jure* считался полноценным.

Реализация особой миссии предполагала экспансионистский элемент во внешней политике такого политического образования. При этом степень самой экспансии оправдывалась характером такой миссии и зависела от восприятия этнополитической, религиозной и культурной специфики ее объекта. Осваиваемые территории, расширяя исходные границы такого государства, видоизменяли пространственную «протяженность» верховной власти правителя.

Особое достоинство, которым наделялся опять-таки особый народ, предполагало наличие других, менее исключительных по своим качествам и отличающихся между собой народов. Степень этнополитических, религиозных и культурных различий обуславливала формы их ассимиляции в рамках расширяющегося государства. В том варианте, когда новые земли и народы, включаясь в состав такого политического образования, теряли свою территориальную самостоятельность, «протяженность» верховной власти завоевателя расширялась. Когда же граница между основной и приобретаемой таким образом территорией оставалась неподвижной, очевидно, происходила «интенсификация» верховной власти, усиливавшая в очередной раз исходное исключительное достоинство завоевателей.

Переплетение имперского и монархического концептов в обосновании политических процессов, протекавших на Британских островах и в Западной Европе – в целом, обуславливало отсутствие, в конечном счете, четкого разграничения между тем, чем следовало руководствоваться при определении этих двух форм политических образований. Попытки некоторых исследователей увидеть в теоретических конструкциях авторов XIV–XVII веков подобие современного представления, разграничивающего два элемента политической системы – форму правления (монархия) и форму государственного устройства (империя) – вряд ли могут оказаться оправданными. Хотя стремление разделять сумму определений, обозначавших «интенсивность» верховной власти и ее «протяженность», несомненно, приближали европейскую мысль этого времени к открытию их современных значений.

Ограниченность инструментальной базы подобных построений определялась не только отсутствием оригинальных решений, сближающим тем самым аргументацию позднесредневековых авторов с античной (греко-римской), но и отношением к самому предмету полемики. Речь идет о том, что в подавляющем всякую вариативность рассуждений контексте политическая организация средневековых обществ по-прежнему отождествлялась современниками со спецификой организации верховной власти. При этом позднесредневековых интеллектуалов, не выделявших еще собственно институциональной природы любого типа политических обра-

зований, прежде всего, интересовали этические, а затем правовые аспекты функционирования властных отношений. В этом смысле предметом многочисленных спекуляций оказывались персонифицированные в личности правителя добродетели (позитивный аспект полемики) и недостатки (негативный аспект полемики), а также рассуждения вокруг легитимности самого правления.

Этическая природа верховной власти подразумевала наличие или отсутствие трансформированных христианством, но уже известных греко-римской культуре добродетелей и достоинств. Легитимность правления напрямую увязывалась либо с античной политической традицией, либо с ее уже средневековыми преемниками; определенное значение сохраняли сугубо династические связи. Используемые доказательства как этического, так и правового характера в своих исходных значениях, повторяя Цицероновские, а позднее – аристотелевские формулы и определения, оказывались насквозь имперскими.

Вплоть до появления знаменитых сочинений Данте («О монархии» и «Пир») интеллектуальные ресурсы имперской тематики, оставаясь первичными, превосходили потенциал монархической полемики. Под влиянием идей Данте монархический дискурс постепенно начинает осваивать систему доказательств имперской полемики, а их значение в политических дискуссиях XIV–XVII веков сначала медленно выравнивается, а затем наблюдается повторная, но отличная от позднесредневековой дифференциация каждого из понятий.

На этапе сближения двух полемических дискурсов происходит своеобразный обмен базовыми концептами. Имперский дискурс, сохраняя свои исходные контуры, активно впитывает в себе характерную для монархического дискурса идею «протяженности» верховной власти<sup>17</sup>, а монархическая тематика осваивает «интенсифицирующие» королевскую власть компоненты. На этом фоне возникают, как представляется, два взаимосвязанных феномена.

С одной стороны, постепенно оформляются представления о существовании оснований для возрождения своеобразного политического гегемона – всемирной светской монархии, претендующей на исключительный статус и миссию не только в известном к тому времени «круге земель», но и на вновь открываемых территориях<sup>18</sup>. Право на «мировое» господство начинают последовательно оспаривать сначала Священная империя (очень непродолжительный период при Карле V), затем испанская (при Филиппе II и его преемниках) и только потом – французская монархии (наиболее последовательно при Людовике XIV). С другой стороны – окончательно укореняются идеи о существовании иного рода самодостаточных политических образований, главы которых в пределах собственных территорий по определению обладают достаточными основаниями для реализации властных полномочий.

Формирующееся таким образом противостояние универсалистских и – условно – партикуляристских тенденций в политическом развитии западноевропейских государств начинает оказывать стимулирующее воздействие на процесс оформления правовой базы, сначала ограничивающей, а затем и регулирующей внешнюю политику династий в пределах известных к тому времени морских путей. Впоследствии международное морское право закладывает основы для постепенно расширяющегося представления о границах географического пространства, в пределах которого реализуется вся полнота верховной власти того или иного суверена.

---

<sup>17</sup> «Quis enim rex, quis princeps qui praeter sanguinis cognationem atque necessitudinem non multis nominibus si genus, si potentiam, si legitimam electionem et deorum et hominum consensum spectemus, et amicis et imperatorem regemque suum salutem. Itaque cum is Carolus iure sit monarcha, velint et eundem esse, agnoscere nec usquam quod sine gravi piaculo fieri non potest, a dei iudicio alio provocare» (*Sauromanus (Sauermann) Georgius. Hispaniae Consolatio. Louvain, 1520 (репринт: Madrid, 1977). Sig. C2r*); «Quando alegremente fue elegido para el regimiento de altissima e mayor prefectura del mundo que es la monarchia del imperio romana» (*Guitierrez de Torres Alvaro. El sumario de las mara villosas y espantables cosas que en el mundo han acontecido. Toledo, 1524 (репринт: Madrid, 1954). P. 89*).

<sup>18</sup> *Bosbach F. The European Debate on Universal Monarchy // Theories of Empire, 1450–1800 / ed. by D. Armitage. Ashgate, 2001. P. 81–99.*

«Обновленные» пространства уже не совпадают ни с широко известными пределами «римского мира», на преемственность с которыми претендует универсалистский вариант монархии, ни с исторически известными границами отделившихся от него в свое время частей и провинций, континуитет с которыми оставался желательным для всех остальных монархий. Основанная на таких формах преемственности идентичность перестает быть достаточной. Во многих своих проявлениях она продолжает питать самосознание западноевропейских монархий XVI–XVII веков, но уже в совокупности с иными концептами.

\* \* \*

Претензии<sup>19</sup> на универсалистский статус верховной власти покоились на лишенном какого-либо мистифицирующего оттенка представлении о социальном теле<sup>20</sup>, не только императивно распространяющем за своими исходными пределами определенный превосходящий все иные формы «гражданственности» тип политической культуры, но и воспринимающем «преображенные» таким образом территории в качестве государств-клиентел, объединенных между собой испанской монархией.

Уже в римском варианте «империи-монархии»<sup>21</sup>, к которому, прежде всего, апеллировали сторонники универсализма<sup>22</sup>, конституирующим такое социальное тело элементом было покоящееся в его исходных началах рациональное основание, организующее его корпоративную сущность, воплощаемую, как известно, в особой форме, близкой по своему значению с гражданским сообществом. Таким основанием считалось универсальное право. Созданное человеческим разумом на основании естественных законов, оно было, прежде всего, рукотворным человеческим правом.

Известно, что для римлян единственно возможный вариант гражданского корпоративного сосуществования был связан с определенными формами городской жизни. Только городская жизнь регулировалась законами, обязывающими людей к особому типу поведения, только она закладывала и постоянно поддерживала определенные формы гражданских достоинств и добродетелей, формируя возможный спектр духовно-физического превосходства человека над всеми иными особями. Очевидно, что избранная римлянами форма сосуществования была результатом их коллективной познавательно-созерцательной деятельности и по этой причине воплощала определенный тип человеческой мудрости – основание, давшее в свое время повод для Августина отнести именно римский вариант социального сообщества к разряду совершенного («perfecta communitas»). Такая мудрость – универсальное знание, соединенное в нормах гражданского права и «моноцентричной» политической культуры, оно, успешно распространяясь за его пределами, несло на себе важнейшую функцию, конституируя и укрепляя разрастающееся тело римской государственности.

Заложенное в этом сообществе стремление к распространению накопленных знаний во многом зависело от отношения к римскому опыту как универсальному источнику знаний. Уже у Полибия сам термин «orbis terrarum» используется для обозначения той части мирового пространства, в которой процветают знания. В этом своем исключительном качестве «римский мир» противопоставляется всем народам, живущим за его пределами. Насколько можно

---

<sup>19</sup> Yates F. *Astrea: The Imperial theme in the Sixteenth Century*. London, 1977; Bosbach F. *Monarchia Universalis. Ein Politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit*. Hamburg, 1988.

<sup>20</sup> *Graphaeus Cornelius. Divi Caroli Caesaris Opt. Max. desyderatissimus ex Hispania in Germaniam reditus*. Antwerpen, 1520 (репринт: Madrid, 1976). Sig. A3v.

<sup>21</sup> Richardson J. *Imperium Romanum: Empire and the Language of Power* // *The Journal of Roman Studies*. 1991. Vol. 81. P. 1–9; Lintott A. *What was «Imperium Romanum»* // *Greece & Rome*. 2nd ser. 1981. Vol. 28. No. 1. P. 53–67; Koebner R. *Empire*. Cambridge, 1961. P. 1–17.

<sup>22</sup> Headley J. *Habsburg World Empire and the Revival of Ghibellinism* // *Theories of Empire, 1450–1800*. P. 45–81.

судить, такие народы отличались от римлян, прежде всего, отсутствием в их социальной практике рационального начала.

Еще у греков, очевидно, под влиянием Аристотеля сложилось мнение о существовании так называемого естественного рабства, означавшего, как известно, состояние человека, производное от его неспособности совершать обдуманые, целенаправленные действия и, следовательно, обрекавшее его на принудительный труд в пользу свободных в своем выборе людей. Аристотель затруднялся в идентификации этого аномального человеческого состояния, но, как представляется, был близок к мысли о том, что оно оставалось характерным для варваров и было, что самое важное, практически необратимым. Несмотря на то, что римляне придерживались сходных взглядов, их правовая практика допускала отсутствовавшие в греческом варианте производные состояния.

Социальные возможности римской правовой культуры, допускавшие различные варианты инкорпорации инородных, главным образом, варварских элементов в состав «римского мира» усиливали отношение к ней как исключительной и обладающей универалистским предназначением. Латий не только считался тем самым местом, где, по образному выражению Вергилия, «дикие расы» некогда были объединены Сатурном. Образовавшаяся в результате этого человеческая раса – «единое сообщество людей и богов» была обречена на преуспевание. Очевидно, заложенный в самой идее вечного города концепт, обеспечивая ему особую консолидирующую такую расу функцию, подразумевал, что успехи процветающей в нем культуры потенциально должны разделять и другие народы. Отказ Термина, как известно, защищавшего пограничные сигнальные маяки, присутствовать на церемонии в честь основания Рима, должно быть, символизировал заведомо predetermined перспективы.

Изменяющееся за счет инкорпорации новых народов социальное тело римской государственности, сохраняя свою исходную самодостаточность, не только разрушало границы между «миром людей» и варваров, но и приобщило обновленную часть образующегося таким образом «круга земель» к идеям и принципам справедливого правления. По образному выражению Сенеки, только империя представляла собой единственное основание – своеобразную «цепь», способную скрепить в единое целое членов различных по своей исходной природе политических сообществ<sup>23</sup>.

Христианская культура, составлявшая второй важнейший конструкт, формировавший представления сторонников универсализма, претендуя на преемственность с римской культурой в охвате «круга земель», иначе представляла себе источники и формы универсального знания, скрепляющие ее исходное единство, но весьма схожим образом понимала их социальную функцию. Независимо от приверженности к расставляемым акцентам, христианское сообщество осознавалось христианской мыслью не только как своеобразное мистическое тело, пребывающее в умиротворенном гармонизированном состоянии, но и как определенное устройство, в котором мирское начало, так или иначе, сосуществует с духовным в «республике верующих»<sup>24</sup>.

Гармония и внутренняя целостность такого сообщества обеспечивались единством христианской мудрости, источники которой неизменно определялись откровением. Его единственными хранителями и толкователями считались преемники апостола Петра, и в этом смысле только папство по определению располагало реальными средствами и орудием для управления всей ойкуменой. Распространяющаяся до последних пределов мира «республика верующих» преумножала, прежде всего, авторитет папства, а не светских государей, обращая неверующих и сокрушая непримиримых врагов христианства, организовывала жизнь на новых

---

<sup>23</sup> Koebner R. Empire... P. 10–17.

<sup>24</sup> Perry D. «Catholicum Opus Imperiale Regiminis Mundi». An Early Sixteenth Century Restatement of Empire // History of Political Thought. 1981. Vol. 2. No. 2. P. 227–252.

территориях в соответствии с нормами, прежде всего, церковного, а только потом светского права.

Казалось бы, в отличие от римской традиции, рассматривавшей единство духовного и материального начал в качестве основы человеческого общежития, христианство предпочитало их субординацию. При этом, неизбежно подчиняя светскую власть духовной, христианская «метафизика государства» все-таки допускала известную двусмысленность в понимании разделяющих обе власти границ.

Уже сам факт сосуществования двух форм властей – их в той или иной степени признаваемый дуализм мог означать различные, а по сути, противоположные последствия для образующих христианскую ойкумену сообществ. Для церкви с ее аксиомой о превосходстве духовного начала над мирским он лишь усиливал концепты папской теократии. При этом светские государи, включая самого императора, могли претендовать на обратное, используя дуализм властей для укрепления собственных позиций.

В подавляющем большинстве определений само представление о «республике верующих» не совпадало с тем, что обычно понималось под церковью, как таковой. «Республика верующих», объединявшая в единое целое клир и мирян, оказывалась значительно шире самой церкви, и в этом смысле власть светских государей и, прежде всего, императора имела достаточные основания для того, чтобы, не оспаривая духовный авторитет папства, стремиться к реализации своей автономной, а затем и самодостаточной сущности.

Положение о неоспоримости вероучительного примата папства сосуществовало с интерпретациями, допускающими двойственность представлений о территориальных пределах его общего верховенства. В зависимости от того, ограничивалось ли единство двух властей верховных понтификов границами Папского государства или же распространялось на территорию всей ойкумены, сокращались или расширялись реальные размеры папской теократии и, как следствие, определялись иерархия и компетенции всех прочих властей.

Практическое господство папства над сферой мирского, как известно, определялось доктринальным подчинением философии теологии. Лежавшее в основе представлений об иерархическом единстве христианской мудрости, оно, тем не менее, строилось на весьма тонком и на практике почти неразличимом видении двух различных состояний близости с основным познавательным идеалом. Философия, как известно, развиваясь, возвышалась до рассмотрения Бога, а теология, осваивая ее знания, непосредственно касалась наивысшего. Возникающее при этом ощущение самодостаточного характера философских знаний и опыта без последующих теологических обобщений могло вполне не подразумевать обратного. Потенциально возможный, а, в конечном счете, неизбежный разрыв единства христианской мудрости предопределял последующее разрушение иерархического строения «республики верующих».

Подобные противоречия, заложенные в представлениях о границах светской и духовной власти, с одной стороны, способствовали постепенной девальвации христианского учения о государстве с его трехуровневой системой властных отношений. С другой – на фоне сближения имперского и монархического дискурсов определяли закономерную концептуализацию идеи светского государства во всех ее мыслимых вариантах: универсалистском, национальном и, наконец, в интересующем нас – композитарном.

\* \* \*

На исходе Средневековья представления об имперской власти по-прежнему ограничивались характером и объемом ее верховной юрисдикции. Используемые для этих целей определения и оценки, по большей части, восходили к наследию глоссаторов XI–XII века и, оставаясь явлением достаточно поздним, были лишены последовательной систематизации.

Исходными в определении объема имперской юрисдикции, как правило, считались две фразы Ульпиана (Dig. 1.IV.1; Dig. 1.III.31), обраставшие в последующих комментариях многочисленными смысловыми интерполяциями и уточнениями. Одна из них: «то, что решил принцепс, имеет силу закона», характеризуя роль императора в созидании потенциально возможной системы права, вызывала ассоциации с более поздним пониманием фундаментальной власти (сначала «imperium», а затем «auctoritas»). Другая: «принцепс свободен от соблюдения законов», конкретизируя его положение в уже действующей системе законодательства, увязывалась с обычно парным и в позднейших комментариях менее значительным по компетенциям определением «potestas».

Отгалкиваясь от подобных ассоциаций средневековые глоссаторы (Плацентин и в особенности Аккурсий) с самого начала модифицируют свойственные римскому праву представления о верховной власти императора<sup>25</sup>. Продолжая разделять характерное для римских юристов мнение о делегированной природе имперских полномочий, они минимизируют возможные условия их отзыва до чрезвычайных. Соглашаясь с римской идеей превосходства имперского суверенитета над властью территориальных государей, они, тем не менее, проявляют завидный интерес к ограничивающим его моделям. Наконец, не возражая против сакрализирующих имперскую власть концептов, они не без влияния теории двух мечей ограничивают природу светской власти вторичными по отношению к духовной признаками<sup>26</sup>.

Модификация классических римских представлений о верховенстве императорской власти, представленная глоссаторами, на деле оборачивалась ее более или менее последовательной лимитацией. При этом соседствовавшая с глоссаторами школа канонического права, инкорпорируя взгляды римских юристов в рамки церковного учения о государстве, напротив, активно способствовала расширению представлений о верховенстве папства в духовных и светских вопросах. Оставаясь на протяжении XIII-XIV веков практически автономной сферой, каноническое право активно использовало наследие глоссаторов, особенно в тех случаях, когда духовная власть последовательно противопоставлялась светским авторитетам. И в этом смысле вплоть до начала XIV века теория папского верховенства по своим интеллектуальным ресурсам во многом превосходила своего основного контрагента<sup>27</sup>. Затем не без влияния известных политических процессов диалог между легистами и канонистами приобрел не только конструктивный оттенок, но и взаимообогащающий характер. Куда более разнообразные формулы и определения, используемые для характеристики всеобщего верховенства пап, стали активно осваиваться и для демонстрации соответствующих компетенций императорской власти<sup>28</sup>.

Начало разработки идей папского верховенства в каноническом праве было связано с поиском емких по смыслу, известных глоссаторам, но не используемых ими понятий. Очевидно, именно этим обстоятельством можно объяснить появление впоследствии широко известной триады определений «plenitudo potestatis» – «plena potestas»<sup>29</sup> – «libera potestas». Первый элемент триады означал полноту власти римского папы в церковных вопросах, второй, чисто технически отличаясь от первого, мыслился как «полная власть», но с оттенком – власть делегированная. Наконец, третий элемент, оставаясь производным от второго, означал «власть

<sup>25</sup> Tierney B. «The Prince is not Bound by the Laws»: Accursius and the Origins of the Modern State // Comparative Studies in Society and History. 1963. Vol. 5. P. 378–400.

<sup>26</sup> Gilmore M. Argument from Roman Law in Political Thought, 1200–1600. Cambridge (Mass.), 1941. P. 34–56.

<sup>27</sup> Tierney B. The Continuity of Papal Political Thought in the 13th Century // Medieval Studies. 1963. Vol. 27. P. 227–248.

<sup>28</sup> Muldoon J. «Extra ecclesiam non est imperium». Canonists and the Legitimacy of Secular Power // Studia Gratiana. 1966. Vol. 9. P. 551–580.

<sup>29</sup> В некоторых случаях использовался синоним «plena auctoritas». Так, например, Ординарная глосса Иоанна Тевтоника (ум. 1216) на Дикреты Грациана содержала специальный раздел «Plena auctoritate» (Pennington K. Pope and Bishops: A Study of Papal Monarchy of 12th & 13th Centuries. Pennsylvania University Press, 1984. P. 59).

неограниченную», т. е. состояние, наступавшее, очевидно, в ходе реализации делегированного властного мандата.

Понятие «*plenitudo potestatis*» уходило своими корнями в богословскую полемику раннего Средневековья, но со временем, утратив известную актуальность, вышло из оборота и оставалось невостребованным вплоть до расцвета канонического права в начале XII века. Первоначально его использование не ограничивалось определениями папского авторитета и распространялось на характеристику особого состояния архиепископа, который после получения папского палия обретал «полноту» своего должностного положения (*plenitudo pontificalis officii*). Начиная с конца XV века, исходная двойственность этого определения будет активно эксплуатироваться в полемике между императорами и территориальными государями<sup>30</sup>.

Определение «*plena potestas*» было заимствовано из римского публичного права, где под ним разумелась определенная форма делегированных полномочий, которыми наделялись лица или группа лиц, представляющих интересы клиента в тех или иных общественно значимых ситуациях. «*Libera potestas*» применялся для обозначения особых полномочий прокураторов и имперских наместников и, подобно, «*plena potestas*» характеризовал положение, при котором «избранник» не связывался в своих действиях определенными полномочиями по каждому конкретному вопросу<sup>31</sup>.

Используемые в совокупности, эти определения обозначали различные аспекты папского верховенства, но только термин «*plenitudo potestatis*» применялся для характеристики папской власти в целом. Первые попытки более или менее исчерпывающего объяснения значения этого термина были связаны с сопоставлением властного авторитета пап и епископов, причем в той мере и степени, в какой в позднейших версиях выстраивались схемы противопоставления императорских и королевских компетенций. Власть папы по определению являлась неограниченной и распространялась внутри границ вселенской церкви в то время, как власть епископов по умолчанию была ограничена территорией диоцеза. В таких сопоставлениях канонисты признавали любое решение пап обязательным не только для всех стоящих ниже его иерархов, но и самой церкви в целом. Ответственность за такие решения лежала исключительно на совести верховных понтификов, при этом ответственность епископов оставалась неизменно субсидиарной. В отличие от епископов папа олицетворял собой критерий справедливости, оставаясь несменяемыми судьей всех и вся (*iudex ordinaries omnium*), его возвышали до уровня «живого права» (*lex animata*), называя верховным законодателем, сохраняющим все мыслимые законы у себя в груди, возможно, в сердце или подле него (*omne ius habet in pectore suo*)<sup>32</sup>.

Дальнейшее усовершенствование смысловых оттенков, характеризовавших «*plenitudo potestatis*» римских пап, было связано с именем Генриха Созо, который значительно расширил представления о их верховной юрисдикции, предложив к использованию формулу «*suppletio defectum*»<sup>33</sup>, обозначающую дополнительную компетенцию по исправлению несовершенных законов и последствий, связанных с их неправомерным использованием<sup>34</sup>. Содержание этой формулы во многом зависело от характерного для канонического права разграничения двух форм власти – абсолютной и упорядочивающей. *Potestas ordinata* наделяла пап способностью законотворчества в сфере позитивного права, а *potestas absoluta* – исключительными полномочиями в корректировке действующего законодательства. Позднее юристы начнут использовать оба понятия для обозначения известного состояния, когда созидательное право верховный зако-

<sup>30</sup> McCready W. Papal Plenitudo Potestatis and the Source of Temporal Power in Late Medieval Political Thought // *Speculum*. 1973. Vol. 48. P. 654–674.

<sup>31</sup> Pennington K. Pope and Bishops... P. 60–63.

<sup>32</sup> Watt J. The Theory of Papal Monarchy in the 13th Century. Contribution of Canonists. Fordham University Press, 1965. P. 75–106.

<sup>33</sup> Oakley F. The Western Church in Late Middle Ages. Cornell University Press, 1979. P. 143–145.

<sup>34</sup> Watt J. The Theory of Papal Monarchy... P. 161–187.

нодатель в момент его последующего применения оказывается в позиции «над» результатом его деятельности<sup>35</sup>.

Очевидная тенденция к своеобразному наращиванию определений папского верховенства далеко не всегда отражала действительность и соответствовала реальным политическим процессам. Прямое вмешательство пап во внутренние дела светских государей носило по большей части эпизодический характер, оставаясь конкретным ситуативно обусловленным явлением. В свою очередь критика Константинова дара с ее выраженной направленностью на сокращение территориальных пределов папской юрисдикции и растущими опасениями по поводу незаконности переданных папскому престолу земель формировала основу для на деле ограничивающих полноту верховной власти моделей. При таком стечении обстоятельств окончательная материализация идеи о всеобщем верховенстве римских понтификов могла состояться исключительно в пределах Папского государства.

\* \* \*

Представления о верховной власти территориальных государей во многом зависели от отношения писавших на эту тему юристов к природе сначала – папского, а затем и имперского верховенства. В том случае, когда универсалистские претензии средневековых императоров полностью отрицались, вся перспектива возможных построений ограничивалась формулой «*rex qui superiorem non recognoscit*», очевидно, восходившей к декреталии Иннокентия III «*Per Venerabilem*». Когда же права на «всемирное» господство императоров не оспаривались, аналогичную функцию выполняла формула «*rex in regno suo est imperator regni sui*», впервые использованная Ацо<sup>36</sup>.

Несмотря на безусловное различие в исходных тезисах, лежавшие в основе обеих формул доказательства, в конечном счете, оправдывали характерную для средневековой Западной Европы территориальную дисперсию властных отношений<sup>37</sup>, открывая перспективы для последующих модификаций теории властного суверенитета. По мере ослабления империи, уже в конфессиональную эпоху конструктивная сторона каждой из формул, заметно усиливаясь, давала почву для появления культурно-исторических вариантов, характеризовавших их «национальную» идентификацию. Формула «*rex in regno suo est imperator regni sui*» составила основу для теорий верховенства в землях, которые никогда не входили в состав имперских владений. Другая же – «*rex qui superiorem non recognoscit*» – использовалась, как правило, государями, которые когда-либо реально соприкасались с территориальной юрисдикцией германских императоров. Очевидно, что только политический опыт Франции и итальянских городов-республик<sup>38</sup> мог претендовать в такой перспективе на исключительную связь с последствиями применения обеих формул.

Позиция Иннокентия III в отношении территориальной верховной власти была еще далека от более жестких и открытых для универсального использования формулировок ее последующих комментаторов, расширявших содержавшиеся в папской декреталии положения о политической автономии французской монархии до ее суверенного, приравненного к имперскому статусу<sup>39</sup>. Уже Ольдрад из Понте, отстаивая претензии Роберта Мудрого на верховенство

---

<sup>35</sup> *Oakley F.* Omnipotence, Covenant and Order: An Excursion in History of Political Thought from Abelard to Leibniz. Cornell University Press, 1984. P. 93–118.

<sup>36</sup> *Post G.* Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State. 1100–1322. Princeton, 1964. P. 453–493.

<sup>37</sup> Более подробно о явлениях дисперсии: *Хачатурян Н. А.* Полицентризм и структуры в политической жизни средневекового общества // Власть и общество в Западной Европе в Средние века / отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2008. С. 8–13.

<sup>38</sup> *Calasso F.* Origini italiane della formola «*rex in regno suo est imperator*» // *Revista di storia del diritto italiano*. 1930. Vol. 3. P. 213–259.

<sup>39</sup> *Pennington K.* Pope Innocent III's View on Church and State: A Gloss to *Per Venerabilem* // *Law, Church and Society: Essays*

в подвластных ему территориях, использовал формулу «*rex qui superiorem non recognoscit*» для полного отрицания универсалистского характера имперской власти<sup>40</sup>. Согласно его утверждениям, сицилийское королевство всегда располагалось за пределами империи и, являясь фьефом римских пап, подразумевало иной тип политической субординации. При этом такой тип вассалитета не отражался на светских прерогативах ни предшественников, ни преемников Роберта Мудрого, поскольку их обязательства перед папством носили исключительно духовный характер и предполагали только вероучительный примат римского престола над сицилийским.

Признавая такой тип субординации в качестве альтернативы внутриимперской иерархии властей, Ольдрад и его последователи подвергали сомнению, казалось бы, непреложный факт о соподчиненности «круга земель» имперскому владычеству. Оказывалось, что идея «всемирной» державы могла оспариваться не только куда более перспективными, хотя и небеспорными, формами вассалитета, не умалявшими суверенного статуса территориальных государей, но и самим фактом существования таких политических объединений.

Очевидная уязвимость определений, подчеркивавших духовный характер вассалитета сицилийских монархов по отношению к папству, интенсифицировала поиск возможных аргументов, доказывающих изначально иной, отличный от отдающего приоритет имперскому порядку вещей. Оказывается, что с точки зрения естественного права – весьма популярного и чтимого среди юристов основания – территориальные государства (собственно королевства или царства) предшествовали образованиям имперского типа<sup>41</sup>. В этой связи терялся исходный смысл универсалистских претензий римского народа, а самое главное – лишались легитимных оснований все декларируемые с ним формы преемства.

Поскольку естественный порядок ограничивал начальные формы политических объединений исключительно территориальными королевствами, империя могла возникнуть лишь в результате завоевания и насильственного объединения некогда независимых государств. Такая форма «неестественного» фактического господства противопоставлялась покоящейся на легитимных началах власти территориальных государей. Римский император, таким образом, лишался *de jure* оснований на мировое господство, а римский народ оказывался неспособным трансформировать производное от этого права достоинство своим государям<sup>42</sup>. Любая последующая «трансляция» имперской идеи по умолчанию превращалась в безосновательную и нелегитимную.

Для той части юристов, которые в той или иной степени признавали универсалистский характер имперской власти – другая формула «*rex in regno suo est imperator regni sui*» означала, что любой монарх, подобно императору, имеет все необходимые основания для верховенства в подвластных ему территориях. При этом весь известный к тому времени мир состоял из свободных королевств, среди которых империя, являя собой пример лишь наиболее крупного по своим размерам территориального образования, была лишена каких бы то ни было первенствующих позиций, а ее доминирование воспринималось в качестве временного, случайного и, безусловно, преодолеваемого состояния<sup>43</sup>.

in Honor of Stephen Kuttner / ed. by K. Pennington, C. Somerville. Philadelphia, 1977. P. 49–67.

<sup>40</sup> *Oldradus da Ponte. Consilia*. Lyon, 1550. Consilium No. 69. Sig. 21r-S26v.

<sup>41</sup> «*Longe ante imperium et romanorum genus ex antique, scilicet iure gentium quod cum ipso humano genere proditum est, fuerunt regna cognita, condita*». Фраза принадлежит Марину из Караманико (ум. 1288). Цит по: *Calasso F. I glossatori e la teoria della sovranita*. Milano, 1957. P. 196.

<sup>42</sup> «*Videndum est ergo qualiter [imperator] acquisivit dominium. Et ipse allegat quod habet causam a populo qui ei concessit, et in eum transtulit omnem imperii potestatem... Respondetur sic quod populus non potuit plus iuris conferre in eum quam habuit... sed populus non habuit de jure dominium super alias nationes, ergo nec ipse*» (*Oldradus da Ponte. Consilia. Consilium No. 69. Sig. 24v*).

<sup>43</sup> Наиболее ранний вариант рассуждений на эту тему принадлежит Андреасу из Исернии (ум. 1316): «*Cum causa rex alius poterit in regno suo quod imperator potest in terra imperii... primi domini fuerunt reges, ut dicit Sallustius... pedditae ergo sunt provinciae (quae regem habent) formae pristinae habendi reges, quod facile fit... Liberi reges tantum habent in regnis suis quantum*

В любом случае разделявшие эту позицию юристы отдавали должное потенциально возможным переменам: «политическая» картина мира могла изменяться как в сторону появления новых территориальных государств, так и в сторону образования неизвестных ранее государственных объединений. Наличие «старой» империи среди такого рода образований не исключало возникновения иной территориальной доминанты и связанной с нею обновленной имперской идентичности. Подобного рода идентичности во многом определяли размежевание политических сил на исходе Средневековья.

\* \* \*

Как известно, после появления знаменитого Ограничительного акта 1533 года в политическом лексиконе англичан прочно укоренились представления, идентифицирующие тюдоровскую монархию с империей, согласно формуле «rex in regno suo est imperator regni sui». Во главе такой монархии – своеобразного «политического тела», состоявшего из людей различного положения и достоинства, стоял второй после самого Господа владыка, облаченный имперским титулом и короной государь<sup>44</sup>. Акт не только содержал характеризующие имперское сознание Тюдоров элементы, но и определял потенциально возможные ассоциации. Речь идет о том, что на фоне отсутствующих упоминаний о посреднической роли церкви могли возникать известные параллели с римской практикой государственного церковного строительства, предполагавшей особую форму подчинения духовной сферы светской власти<sup>45</sup>. Отождествление монархии с «политическим телом», способным не менять своей конфигурации во времени и пространстве, могло вызывать закономерные ассоциации с представлениями о «мистическом» теле монархии, оказывавшими влияние на ее более последовательную сакрализацию. Уровень обобщения, допускавший такие взаимосвязанные отождествления, не только раскрывал, но и превращал параллель с политико-правовыми атрибутами средневековой корпорации в одну из наиболее очевидных<sup>46</sup>.

Среди всех мыслимых ассоциаций возможная связь с корпоративной теорией была наиболее принципиальной, поскольку скрытые в ней возможности облегчали восприятие постоянно меняющих свою направленность процессов самоорганизации средневекового общества.<sup>47</sup> Первоначально корпорация (*universitas*) отождествлялась с формирующими подобную общность людьми<sup>48</sup>. Затем, по мере усложнения исходных представлений, складывались предпосылки для постепенного разграничения входящих в подобные объединения физических лиц и собственно самой формы корпоративной организации. Последняя, очевидно, приобретая черты универсальной формы самоорганизации общества, осмысливается как обобщающая этот опыт самодостаточная абстракция. Постигаемая исключительно посредством человеческого разума, она выводится за рамки бренного существования в сферу категорий естественного

---

imperator in imperio» (*Andreas de Isernia*. In usus feodorum commentaria. Lyon, 1579. Sig. 286r).

<sup>44</sup> «Where by divers sundrie old autentike histories and chronicles it is manifestly declared and expressed that this Realm of England is an Empire, and so hath ben accepted in the worlde, governed by oon supreme heede and King having dignitie and roiall estate of the Imperiall Crowne of the same, unto whom a Body politike, compacte of all sortes and degrees of people... ben bounded and owen to bere next to God a naturall and humble obedience» (An Acte that the Appeles in suche cases as have ben used to be pursuit to the See of Rome shall not be from hensforth had ne used but within this Realme (1533: 24Henry VIII, c.12) // Statutes of the Realm. London, 1817. Vol. III. P. 427).

<sup>45</sup> Более подробно об этом см.: *Ullmann W.* This Realm of England is an Empire // *Journal of Ecclesiastical History*. 1979. Vol. 30. No. 2. P. 175–203.

<sup>46</sup> *Kantorowicz E.* The Kings two bodies: a study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957; *Canning J.* Law Sovereignty and Corporation Theory // *Cambridge History of Medieval Political Thought*. 350–1450. Cambridge, 1987. P. 473–477.

<sup>47</sup> *Хачатурян Н. А.* Средневековый корпоративизм и процессы самоорганизации в обществе. Взгляд историка-медиевиста на проблему коллективного субъекта // *Власть и общество в Западной Европе в Средние века*. С. 31–46.

<sup>48</sup> «universitas nil aliud est nisi hominess qui ibi sunt» (*Accursius*. Glossa Ordinaria // *Corpus Juris Civilis*. Venice, 1497. Sig. 63v (Ad Dig. 3.4.7)).

права и наделяется правосубъектностью. Как юридическое лицо корпорация затем повторно материализуется в коллективном лице составляющих ее членов, но при этом остается независимой от них, т. е. самоуправляемой организацией<sup>49</sup>.

Уже в трудах Бартоло<sup>50</sup>, а затем и Бальдуса итальянские города-республики начинают отождествляться с корпорациями, регулирующими свою внутреннюю жизнь при помощи обычного и статутного права, источники которого определяются коллективным согласием живущих на их территории народов. При этом покоящиеся на всеобщем волеизъявлении обычаи и статуты не требуют иных высочайших санкций<sup>51</sup>. Функционирующая в таких городах-корпорациях избираемая или назначаемая народом верховная власть приобретает самодостаточный, и фактически независимый от внешних авторитетов характер<sup>52</sup>.

Влияние корпоративной теории не ограничивалось представлениями о формах самоорганизации итальянских городских республик. Оно подпитывало куда более общие рассуждения итальянских и французских юристов о генезисе и природе территориальных государственных объединений<sup>53</sup>. Солидаризирующим позицию этих юристов моментами являлись, с одной стороны, признание «очевидной реальности» универсалистского характера верховной власти императора и осознание «очевидной условности» ее территориальных пределов – с другой. Меняющиеся размеры и границы имперских владений (от римлян – к грекам и от греков – к германцам) способствовали появлению *de facto* самостоятельных государств. Такие государства могли признавать верховную юрисдикцию «римских» императоров, и в этом случае баланс сил и авторитетов сохранялся. Когда образовавшиеся государства оспаривали верховенство имперской власти, она *de jure* сохраняя свои полномочия, уже *de facto* обретала конкурентов.

Такие конкурирующие с империей государства в силу сложившейся практики и обычаев могли избирать верховных правителей и превращались в фактически самостоятельные политические образования, во многом напоминая самоуправляемые городские корпорации. Фактическая самостоятельность и правовая самодостаточность подобных корпораций подразумевали физически отсутствовавшего среди ее членов «римского» императора. В этом смысле такая корпорация, затем городская коммуна и, наконец, территориальное государство, компенсируя недостающее звено в иерархическом единстве, либо как бы «замещали» принцепса (*vice principis*), либо, возлагая на себя его полномочия, становились таковым (*sibi princeps*): грань между *de facto* и *de jure* границами заметно ослабевала. Формирующаяся на этом фоне иерархия властей, формально сохраняя приоритет имперского верховенства, скорее, тяготела к тому, чтобы стать иерархией самостоятельных территориальных государственных образований.

\* \* \*

Конфигурация «политического тела» английской композитарной монархии определялась наличием трех территориальных моделей. Первая модель характеризовала отношения,

<sup>49</sup> Об этом подробнее: *Canning J.* The Corporation in the Political Thought of the Italian Jurists of the Thirteenth and Fourteenth Centuries // *History of Political Thought*. 1980. Vol. I. P. 15–24; *Wilks M.* The Problem of Sovereignty in the Late Middle Ages. Cambridge, 1963. P. 24.

<sup>50</sup> *Wolf C.* Bartolus of Sassoferrato: His Position in the History of Medieval Political Thought. Cambridge, 1913. P. 156–159.

<sup>51</sup> Формула «*civitas quae superiorem non recognoscit*», определявшая суверенный город-республику, а затем и любое территориальное государство как «*sibi princeps*» или «*vice principis*» (*Baldus de Ubaldis*. *Consilia*. I–V. Brescia, 1490–1491 (репринт: Roma, 1894). II. No. 49).

<sup>52</sup> *Baldus de Ubaldis*. *Lectura super prima et secunda parte digesti veteris*. Lyon, 1498 (репринт: Turin, 1987). Ad Dig. I.1.9. Sig. 9r.

<sup>53</sup> *Meijers E.* *Etudes d'histoire du droit*. 4 vols. Leiden, 1956–1973. Vol. III. P. 156–198.

которые складывались между Англией и Уэльсом, была унитарной и в силу своей специфики не создавала видимых проблем для правящей династии.

Эти отношения характеризовались единой правовой системой, одним парламентом, одной церковью, одним Тайным советом и единой судебной системой. Все на что Уэльс мог в реальности претендовать, оставляя в памяти англичан свое некогда независимое существование, был учрежденный при Генрихе VIII Совет по делам Уэльса, регулировавший не столько культурно-историческую автономию этой части британской государственности, сколько осуществлявший фискально-административную и военную централизацию образованных в то же время валлийских графств.

Вторая модель определяла отношения между Англией и Ирландией<sup>54</sup>. Положение зеленого острова в этой связке было специфичным, поскольку Ирландия далеко не сразу стала восприниматься англичанами как их собственная колония, но и тогда, когда это произошло, отношения усложнялись наличием автономных ирландских институтов, таких как Тайный совет, парламент, правовая и законодательные системы. Несмотря на то, что Ирландия в этих отношениях занимала явно подчиненное по отношению к Англии положение, она все-таки оставалась полусамостоятельным или автономным образованием. Кстати, накануне заключения англо-шотландской унии 1603 года соотечественники Якова I опасались того, что именно такая модель может стать образцовой для отношений между Англией и Шотландией. При этом их заботило то, что Шотландия, отношения которой с Англией определяли контуры третьей модели<sup>55</sup> территориально-политического объединения, может лишиться своего главного преимущества. Шотландия сохраняла практически независимую судебную-административную систему и законодательство, а шотландская церковь была на деле более близкой к реформационным идеалам и, следовательно, лучшей в сравнении с английской. Соотечественники Якова I тем не менее оставались реалистами, понимая, что униатские отношения между Лондоном и Эдинбургом будут складываться именно под эгидой Англии, поскольку Шотландия уступала ей и в территориальном, и в материально-экономическом плане.

\* \* \*

Если к концу XVI века англо-британский вариант подчинения Шотландии оставался нереализованным, то отношения Англии и Ирландии в рамках композитарной монархии были реальностью. Многие из того, что лежало в основе этих отношений обладало своей спецификой, хотя и обнаруживающей известные параллели с проектом англо-шотландского объединения.

В начале XVII века отношения между двумя композитами по-прежнему регулировались двумя актами, история появления которых уходит своими корнями еще в тюдоровское законодательство. В 1541 году Генрих VIII был вынужден изменить статус Ирландии, отказавшись от титула «лорд» в пользу монаршего сана. Согласно этому акту, король Англии получал «... титул и достоинство короля Ирландии». Это означало, что никто другой, а именно английский монарх мог быть королем Ирландии. Два композита объявлялись равными в том смысле, что новый титул приносил вместе с собой «все прерогативы, достоинства и другие возможные обстоятельства, связанные с титулом короля как императорским...»<sup>56</sup>. Ирландская корона,

---

<sup>54</sup> *Ohlmeyer J.* Seventeenth Century Ireland and the New British and Atlantic Histories // *The American Historical Review*. 1999. Vol. 104. No. 2. P. 446–462; *Percival-Maxwell M.* Ireland and the Monarchy in the Early Stuart Multiple Kingdom // *The Historical Journal*. 1991. Vol. 34. No. 2. P. 279–295; *Kingdom United? Great Britain and Ireland since 1500: Integration and Diversity* / ed. by S. Connolly. Dublin, 1999.

<sup>55</sup> *Wormald J.* The Creation of British Multiple Kingdoms or Core and Colonies // *Transactions of Royal Historical Society*. 6th ser. 1992. Vol. 2. P. 175–194.

<sup>56</sup> *The Statutes at Large, Passed in the Parliament held in Ireland... 1301 to 1800.* Dublin, 1786. Vol. 1. P. 176.

подобно английской, объявлялась имперской, но только с той разницей, что подразумевала объединение с короной английской.

Вторым важнейшим актом, определявшим политическое устройство и статус Ирландии как имперского композита, был закон Пойнинга (1494)<sup>57</sup>. Учитывая расстояние, разделявшее два острова, закон признавал необходимым организацию на острове отдельной системы исполнительных институтов, действие которых, однако, не оспаривало несомненного превосходства монарха во всех вопросах внутренней и внешней политики острова. Акт напрямую не касался законодательного процесса, но при этом содержал ограничения, налагавшиеся на местную исполнительную власть в плане ее возможного влияния на законодательный процесс и подразумевавшие почти неограниченный контроль со стороны короля над всей законотворческой деятельностью на острове. Исполнительная власть в Ирландии получала право созывать парламент только при условии наличия разрешения со стороны монарха. При этом все подлежащие обсуждению в парламенте законопроекты должны были иметь предварительное одобрение со стороны короля и его, естественно, английского совета, а на завершающей фазе заверены Большой королевской печатью.

В 1557 году закон Пойнинга был существенно изменен, после чего английский Тайный совет был фактически отстранен от участия в процессе одобрения законопроектов. При этом монарх по-прежнему скреплял принятый ирландским парламентом акт Большой королевской печатью. В таком виде закон подчеркивал неразрывную связь двух композитов и восходящий еще к акту 1541 года принцип инкорпорации двух регионов под эгидой англо-ирландской короны. При этом весьма существенным оставалась связь, которая предоставляла право ирландским подданным обращаться за правосудием непосредственно к самому королю, который в свою очередь, осуществляя правосудие, мог консультироваться с членами Тайного совета и английскими судьями<sup>58</sup>.

Судя по всему, преобразования в административно-судебной системе зеленого острова 1497–1557 годов способствовали формированию среди местного населения (главным образом англо-ирландской знати) весьма положительного отношения к политике, проводимой короной в отношении ее островного композита. Несмотря на то, что с 1543 по 1613 год ирландский парламент собирался всего четыре раза, его решений хватало для того, чтобы регулировать должным образом внутреннее положение острова. В том случае, если исполнительная власть на острове испытывала необходимость в принятии новых дополнительных решений, Тюдоры относились к этому с пониманием инисхождением. Так или иначе, но эта сторона преобразований оставалась в рамках, очевидно, одобряемых местным населением.

Часть намеченной программы имела негативные для англо-ирландских отношений последствия. Это касалось в первую очередь «кадровой» политики короны и инициированной все тем же Сомерсетом кампании по распространению протестантизма среди местного населения. Подобные преобразования не только провоцировали конфликты между местной исполнительной властью и главами католических кланов и семейств, но разжигали вражду между различными частями ирландского общества и даже, как полагают исследователи, определяли флуктуацию групповых идентичностей. Даже с учетом того, что елизаветинское правительство изменило акценты, сместив прежний исключительно вероисповедный принцип, заменив его идеей разносторонней цивилизаторской политики, где внедрение протестантизма среди местного населения считалось одним из ее аспектов – конфессионализация острова к концу XVI века была значительной. При этом лояльность к базовым принципам англо-ирландской монархии, тем не менее, оставалась незыблемой.

---

<sup>57</sup> Edwards R., Moody T. The History of Poynings Law: Part I, 1494–1615 // Irish Historical Studies. 1940–1941. Vol. II. P. 415–416.

<sup>58</sup> The Statutes at Large... Vol. I. P. 44.

В этом плане весьма показательны требования католической оппозиции, сформулированные графом Тироном в 1599 году. Напомню, что, не подвергая сомнению установленные Генрихом VIII принципы государственного устройства, он тем не менее полагал, что ирландские католики должны подчиняться непосредственно папе, а принадлежавшие им земли, конфискованные во время реформации в пользу англичан, следует вернуть обратно. Определяя этнический состав высших должностных лиц Ирландии, он настаивал на том, что все они, за исключением прямого представителя монарха, должны быть ирландцами, но при этом – не обязательно католиками<sup>59</sup>.

Известно, что программа, выдвинутая Тироном, имела еще один важный аспект, связанный с этнокультурной перспективой зеленого острова. Уже тогда, даже на фоне явно педалируемой Тюдорами «цивилизаторской» политики, среди разнородного и в этническом, и в конфессиональном отношении населения Ирландии просматривались весьма определенного рода предпочтения, определяющие этнокультурную идентичность островитян. При всем притом, что конфессиональные размежевания местного населения строились по принципу традиционного противостояния католиков и протестантов, религиозный аспект терял свою исходную актуальность в том случае, если английская сторона не подвергала сомнению политическую автономию Ирландии в том варианте, в котором она сложилась с конца XV по середину XVI века. Тогда над шкалой, демонстрирующей традиционные религиозные предпочтения ирландцев, выстраивалась дополнительная система координат, объединявшая в единое целое предпочтения англичан (так называемых «старых англичан»), заселивших остров в конце XII века, англо-ирландцев, франко-ирландцев, шотландцев и даже в некоторых случаях гаэльскую часть населения острова. Такая композиция этнокультурных групп не исключала распространение среди них не только собственно английской или, точнее, англоговорящей идентичности, но и ставшей впоследствии особенно актуальной британской лояльности.

Поскольку политическая автономия острова при Тюдорах постоянно подвергалась испытанию, главным образом из-за угрозы внешнего вторжения, устойчивость подобной системы идентичности и лояльности оказывалась подвижной. В этом смысле решение Тюдоров приступить к повторной колонизации острова диктовалось в основном реальностью внешней угрозы. Превратившись в объект очередной колонизации уже при Стюартах, Ирландия продолжала сохранять за собой уникальный статус, но, оставаясь частью империи, британским компози- том, она приобретала статус колонии. Обозначая ее как колонию, англичане, тем не менее, подчеркивали ее существенное отличие от своих североамериканских колоний<sup>60</sup>. Она не являлась заново открытой землей, и процесс земельных трансформаций протекал в ней иначе, чем в американских колониях. В большинстве случаев передача земли осуществлялась согласно актам ирландского парламента и, следовательно, во внимание принималась в основном региональная перспектива. При этом основой вторичного земельного рынка, как правило, служили земли, конфискованные у местных лидеров после принятия билля об измене все тем же ирландским парламентом. Многие из тех, кто получили новые земли, были ирландцами. Статус джентри был достаточно распространенным среди местного, в то время как коренные жители североамериканского континента были лишены подобных возможностей. Точно также как и в Англии одни владельцы сменяли других, в Ирландии одни колонисты получали земли за счет других. На практике это обстоятельство имело один неконструктивный элемент: как правило, процесс земельного перераспределения сопровождался вытеснением католически настроенных владельцев, имевших староанглийские корни, протестантами. При этом обретшие новые земли англичане и шотландцы становились в свою очередь жертвами колонизаторской политики как

---

<sup>59</sup> Casway J. Owen Roe O'Neill and the Struggle for Catholic Ireland. Philadelphia, 1984. P. 33–34.

<sup>60</sup> Canny N. The Ideology of English Colonization: From Ireland to America // William and Mary Quarterly. 3d Ser. 1973. Vol. 30. P. 575–198.

Тюдоров, так и Стюартов. Так, например, когда Томас Уэнтворт пытался осуществить план по устройству Коннота, то среди жертв новой политики наместника оказался Ричард Бойл, граф Корк, пожалуй, один из самых успешных английских колонистов, а также его ближайший приятель сэр Хардресс Уоллер. Уоллер, известный пуританин, кстати, один из немногих подписавших смертный приговор Карлу, пытался противостоять планам Уэнтворта, объединившись с соседями-католиками. Тем не менее все они оставались лояльными подданными вплоть до того, как восстание 1641 года неизбежно поляризовало общество.

\* \* \*

Шотландия к моменту объединения корон уже была составной монархией, границы которой, тем не менее, оставались подвижными вплоть до 1620-х годов<sup>61</sup>. Западные острова или Внешние Гибриды перешли во владение шотландской короны от норвежской монархии в 1266 году. Там, по существу, сложилось унитарное государство во главе с лордами Островов МакДональдами, передававшими власть внутри рода от отца к старшему сыну уже к концу XIII столетия. Наличие на северо-западной периферии сильного и независимого наследника всегда волновало шотландскую корону, но политика полного подчинения островов увенчалась первым значительным успехом только в 1493 году, когда МакДональды по существу признали вассалитет в отношении шотландского королевского дома. Корона, хотя и распространила свое влияние на территорию островов, сопротивление со стороны местных островных кланов, лишившихся былой опоры, было окончательно сломлено только в 1545 году. Яков IV только дважды в 1493 и в 1495 годах снаряжал для борьбы с повстанцами военные экспедиции, но без особого успеха. Только после военных рейдов графов Аргайла и Хантли 1504 и 1506 годов соответственно ситуацию на островах удалось нормализовать. При Якове V очередная военная экспедиция на острова (1540), помимо общих задач по усмирению местного населения, выполняла ставшую в последствии весьма показательной для имперской политики шотландской короны цивилизаторскую функцию «по усмирению непокорного духа островитян с тем, чтобы они подчинялись законам». Расширение и укрепление границ владений шотландской короны через цивилизаторскую политику на фоне более или менее регулярно организуемых военных рейдов, возглавляемых самим монархом, превратилось в форму традиционного для самой короны утверждения территориальных пределов своего империя. Только Яков VI, несмотря на свои многократные намерения (1596, 1598, 1600), стал первым шотландским королем, отказавшимся от непосредственного присутствия на островах. При этом он весьма последовательно проводил цивилизаторскую политику, желая тем самым снизить напряженность среди самого гаэльского населения островов и в отношении к ним со стороны шотландцев. Уже в конце XVI века он активно отстаивал идею создания своеобразной этнокультурной параллели, которая, по его мнению, могла противостоять не только гаэльским союзам на территории самой шотландской монархии-империи, но и даже в самой Ирландии.

Он полагал, что такой альтернативой могла бы стать некая новая общность, именуемая им британской<sup>62</sup>, основу которой должны составить английский язык, протестантская церковь и лояльность идеям шотландско-британской короне. Любопытно, что первые несанкционированные миграции шотландцев в ирландский Ольстер также оправдывались подобными благими намерениями шотландской короны. Известно, что Яков VI, наставляя своего наследника в делах праведных, рекомендовал ему, что тот, «организуя колонии среди островитян посредством послушных подданных, в кратчайшие сроки сможет изменить и воспитать наиболее

---

<sup>61</sup> *Armitage D.* Making the Empire British: Scotland in the Atlantic World, 1542–1707 // *Past & Present.* 1997. No. 155. P. 34–63.

<sup>62</sup> *Mason R. A.* Scotching the Brut: Politics, History and National Myth in Sixteenth-Century Britain // *Scotland and England, 1286–1815 / edit. by. R. Mason.* Edinburgh, 1987. P. 115–117.

достойных из них, искореняя или выселяя наиболее строптивых и упрямых, развивая культуру в их жилищах». Две известные попытки (1598–1600 и 1605–1606 гг.) колонизации острова Льюиса жителями южных областей Шотландии провалились, и только тогда корона приступила к более решительным действиям. В 1608–1609 гг. две экспедиции – одна под руководством Эндрю Стюарта, лорда Очилтри, другая – Эндрю Нокса, епископа Островов, завершились уже более успешно. Очилтри, как известно, пленил вождей кланов и заменил их эмиссарами, в обязанности которых входила организация цивилизаторской политики в отношении местного населения.

Иколмкиллские статуты (1609) распространили влияние протестантской церкви, поощряли гостеприимство среди местных жителей, осуждали идолопоклонство, бродяжничество, пьянство, запрещали держать огнестрельное оружие. При этом в отличие от англичан Яков I никогда не запрещал браки между англоговорящими шотландцами и гаэльской частью населения, полагая, что смешанные браки будут благоприятствовать повсеместному распространению протестантски ориентированной культуры.

Уния корон между Англией и Шотландией (1603) вдохнула новые силы в политику «окультуривания» гаэльского населения Шотландии и Ирландии. Яков I Стюарт еще с большим старанием приступил к внутренней колонизации территорий и более чем кто-либо из его предшественников настаивал на необходимости формировать новую британскую общность как на островах, так и в подвластной Ирландии. В этом смысле его политика по миграции как шотландского, так и английского населения в пределы Ольстера, была тому весомым подтверждением.

Известно, что Яков выступал даже с идеей формирования на территории Британских островов унитарного по своей сути государства, населенного новой британской нацией. Его намерения определили широкий резонанс во всех британских композитах. В ходе этих дебатов известный шотландский математик Роберт Понт, приветствуя «подчинение нашей Великой Британии, Ирландии и прилегающих британских островов власти единого императора», утверждал, что результатом этого объединения станет «приручение диких и необузданных ирландцев из английского доминиона и тех, кто населяет шотландские Гибриды». Гаэльское население Ирландии и Шотландии, провоцируя и без того многочисленные проблемы, превратились после унии корон в одну из основных проблем Британской монархии, которую она напрямую связывала со своей собственной безопасностью и политикой по «воспитанию» населявших ее территорию «варваров». Судя по всему, проект нового устройства Великой Британии предполагал наряду с сохранением политической автономии трех ее основных композитов, их постепенное объединение на основе формирования британской идентичности. За первую треть XVII века успехи в этом направлении были значительны, а тот факт, что основным строительным материалом новой общности оказывались англоговорящие шотландцы, подчеркивает известное преобладание не английского, а именно шотландского варианта государственного строительства.

Карл, как известно, испортил все, нарушив изначально намеченные его предшественником государственные принципы. Идея Великой Британии дала трещину, когда он отказался рассматривать три имперских композита как политически автономные образования. На этом фоне обострились религиозные разногласия, вылившиеся, как известно, в движение конфедератов в Ирландии и в ковенанторское движение в Шотландии. Начавшая гражданская война была войной трех королевств<sup>63</sup>, исход которой предполагал два возможных решения. Один вариант означал возвращение к политике прежнего равновесия между тремя композитами, другой – наименее желательный – стал реальностью и определил динамику последующего государственного строительства.

---

<sup>63</sup> Russell C. The British Problem and the Civil War // History. 1987. Vol. LXXII. P. 395–415.

## «Domus regis» и «familia regis» в раннее Новое время<sup>64</sup>

Традиционно вторая половина XV века считается периодом существенных перемен в истории английского королевского двора. Речь идет о том, что под влиянием целого комплекса причин прежняя, военно-административная организация королевского хаусхолда<sup>65</sup> утрачивает конституирующую этот институт функцию, уступая место сугубо «гражданским» принципам его внутренней консолидации. Подобные сдвиги в организации королевского двора максимально формализуются в первом «стационарном» регламенте – «Черной книге Эдуарда IV», определяя иерархию королевских слуг в рамках двух его основных подразделений – «domus providencie» и «domus magnificencie», соответственно обеспечивавших хозяйственные и представительские функции. При этом механизмы, определявшие отношения монарха и его слуг как верхнего, так и низшего звена, сохраняя свои прежние ресурсы, иницируют новые формы взаимной компенсации. Сам государь, оставаясь в идеале основным и наиболее надежным источником милости, продолжает «стягивать» на себе все линии теперь уже придворного патроната, расточая среди постоянно растущих придворных клиентел не столько материальные блага, сколько право на их получение, а те воспринимают новизну приобретаемого как одно из преимуществ, определяемых исключительно «гражданской», а не военной службой своему суверену. Вся последующая эволюция придворных служб связана с последовательным совершенствованием именно такой формы взаимоотношений с государем, обусловившей, в конечном счете, их корпоративную, а затем и групповую идентификацию. В обновляющихся таким образом условиях королевский двор не только не потеряет былого значения в управлении принадлежавшими английской короне территориями, но и становится своеобразным центром, где вершилась «высокая» политика.

Оформление организационной структуры «нового» хаусхолда отражало результаты двух взаимосвязанных процессов, протекавших внутри и за пределами придворного пространства. С одной стороны, речь идет о разрастании традиционных служб королевского домохозяйства, известного с конца XII века под термином «domus regis»<sup>66</sup>. С другой стороны, сказываются последствия постепенного размывания наиболее привилегированной части королевской свиты, так называемых «familiares», инфильтрированных в состав периферийных территориальных сообществ и обязанных своей инфеодацией исключительно военной службе государю<sup>67</sup>. Под влиянием этого процесса исчезает ранее независимое в административном плане подразделение королевского двора, обозначавшееся по аналогии с входившими в его состав членами королевской свиты термином «familia regis».

Укрупнение различных служб и ведомств, структурно объединявшихся в пределах королевского домохозяйства, сопровождалось их закономерным «исходом», способствовавшим образованию системы центрального исполнительного аппарата. Формировавшиеся в результате этого автономные от «дворцовой» администрации органы, обеспечивавшие в первую очередь финансовый, фискальный и судебный контроль на территории всего королевства, тем не менее, сохраняли свои исходные «матричные» формы, продолжавшие регулировать соответствующие сферы жизнедеятельности королевского хаусхолда, указывая на наличие, пусть

<sup>64</sup> Оригинальная публикация: Федоров С. Е. «Domus regis» и «Familia regis» в раннее Новое время // Королевский двор в Англии XV–XVII веков / ред. и сост. С. Е. Федоров. СПб., 2011. С. 27–44.

<sup>65</sup> Впервые понятие «военный хаусхолд» было введено Т. Таутом: *Tout T. Chapters in the Administrative History of Medieval England*. 6 vols. Manchester, 1937. Vol. II. P. 133, 138.

<sup>66</sup> *Constitutio Domus Regis // Dialogus de Scaccario and Constitutio Domus Regis* / ed. by C. Johnson. Edinburg, 1950. P. 128–135.

<sup>67</sup> О начальных стадиях этого процесса: *Prestwich J. The Military Household of the Norman Kings // English Historical Review*. 1981. Vol. 96. No. 378. P. 1–35; *Frame R. The Political Development of the British Isles, 1100–1400*. Oxford, 1990. P. 169–188.

обратной, но генетически опосредованной связи с системой «государственного» управления<sup>68</sup>. Подобная связь, поддерживая институциональное единство придворных и «государственных» ведомств, способствовала распространению практики межведомственного совмещения должностей, сохраняя тем самым известное «кадровое» единство всего центрального исполнительного аппарата. В расширяющемся и совершенствующемся таким образом властном пространстве английской монархии, так или иначе, просматривалась его изначально значимая придворная доминанта, и в этом смысле каждый причастный этому пространству индивид оставался королевским слугой.

Практика совмещения придворных и «государственных» должностей<sup>69</sup> указывала на весьма характерную уже для правления Нормандской династии закономерность, отражавшую определенную зависимость сначала военной, а затем и любой другой службы государю от доступных материальных благ старого и нового королевского доменов. На протяжении XI–XII веков королевская власть активно перераспределяла «реальные» ресурсы старого и нового доменов среди наиболее лояльной части своей придворной свиты, используя распространенные к тому времени формы инфеодации<sup>70</sup>. Вплоть до конца XIII века среди всех возможных комбинаций преобладающим типом компенсации за военную службу правящему дому оставались традиционные земельные фьефы. Так называемые денежные фьефы, подразумевавшие различные формы выплат из королевской казны или право на получение дохода от развивавшихся в пределах новых домениальных земель короны промыслов («*dona*», «*vadia*» или «*liberaciones*»), носили до начала XIV века лишь вспомогательный характер и, как правило, использовались для привлечения иностранцев в состав королевской свиты<sup>71</sup>. По мере постепенного истощения земельных ресурсов старого королевского домена – его практически полной инфеодации – денежная форма фьефа приобретает доминирующий характер и начинает активно использоваться для поощрения той части ближайшего окружения короля, которая формировалась из слуг, совмещающих придворные посты с должностями в центральном исполнительном аппарате. Поскольку источником выплачиваемых или извлекаемых сумм по-прежнему остаются принадлежащие правящей династии наследственные и конфискованные у мятежной знати земельные комплексы, верховная власть, сохраняя свою патримониальную природу, распространяет свои домениальные интересы на все территориальные владения монархии.

Исчезновение постоянной королевской свиты, определившее «демилитаризацию» хаусхолда было результатом глубоких процессов, протекавших в английском обществе на протяжении XI–XIII веков<sup>72</sup>. Известно, что еще короли Нормандской династии инфеодировали значительную часть своей придворной свиты, используя для этого принадлежавшие короне домениальные земли. Инфеодация сопровождалась форсированной инфильтрацией придворных слуг в состав элиты территориальных сообществ, располагавшихся в непосредственной близости, но за пределами старого королевского домена<sup>73</sup>. Уже в начале правления Плантагенетов просматривались очертания уравновешивавшей характерный для таких сообществ политический сепаратизм субструктуры. Несмотря на то, что процесс внедрения королевских слуг протекал волнообразно, меняя по воле монархов свои конечные объекты и сферу внедрения

<sup>68</sup> Власть и общество в Западной Европе в Средние века / отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2008. С. 231.

<sup>69</sup> Такая тенденция останется доминирующей вплоть до начала гражданских войн середины XVII века. Об этом: Федоров С. Е. Раннестюартовская аристократия. 1603–1629. СПб., 2005.

<sup>70</sup> Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI–XIII вв. М., 1962. С. 94–103.

<sup>71</sup> Lyon D. The Money Fief under The English Kings, 1066–1485 // *English Historical Review*. 1951. Vol. 66. No. 259. P. 161–193; Harvey S. The Knights and Knight's Fee in England // *Past & Present*. 1970. Vol. 49. P. 3–43; Church S. The Rewards of Royal Service in Household of King John: A Dissenting Opinion // *English Historical Review*. 1995. Vol. 110. No. 436. P. 277–303.

<sup>72</sup> Prestwich J. Anglo-Norman Feudalism and the Problem of Continuity // *Past & Present*. 1963. Vol. 26. P. 39–57.

<sup>73</sup> Coss P. Lordship, Knighthood and Locality. A Study in English Society, c. 1180–1280. Cambridge, 1991. P. 305–327.

(от создания военно-охранных до административно-судебных структур на уровне отдельных графств и сотен), его позитивные результаты были очевидны.

Инфеодация ближайших сподвижников династии и связанная с ней инфильтрация, в известной мере консолидируя центр и периферию в пределах старого и нового королевского доменов, тем не менее, не избавили верховную власть от неминуемых негативных последствий именно такого вмешательства во внутреннюю жизнь локальных сообществ, лежавших за границами непосредственных владений английской монархии. Не столько королевские выдвигенцы, сколько их потомки, включавшиеся в систему местных поземельных связей, со временем перенимали или же были вынуждены перенимать сложившуюся на местах практику. Значительная часть принадлежавших им реальных владений (старый королевский домен) из-за их небольших размеров и как следствие – хозяйственной нерентабельности подвергалась дроблению и отторгалась, как правило, изменяя свою владельческую структуру не по вертикали, а по горизонтали<sup>74</sup>.

Инфеодация внушительной доли земель старого королевского домена в пользу ближайшего окружения монарха, таким образом, оставаясь экономически выгодной верховной власти, с течением времени лишала королевскую свиту необходимых источников к существованию и теряла свою политическую составляющую, лишая монархию желаемой опоры на местах. После издания знаменитого статута *Quia Emptores*, как известно, узаконившего земельную субституцию<sup>75</sup>, преемники получивших земельные лены королевских слуг, оставаясь лояльными короне, вынужденно искали поддержки среди более обеспеченных и влиятельных местных лордов и подчас становились активными участниками их свит – благо, такие связи вполне допускались.

Первоначально такие связи, хотя и основанные на личных контрактах, носили вторичный характер. Отношения с короной для большинства преемников продолжали оставаться наиболее приоритетными: по мере необходимости они несли военную службу государю. Однако со временем и по мере распространения практики коммутации рыцарской службы они постепенно становились доминирующими. Такие отношения оказывались более гибкими как с позиций предполагаемой за них компенсации, варьировавшейся от одноразовых выплат до пропорционально поступавших в течение определенного срока сумм, так и с точки зрения их возможного прекращения, означавшего либо возврат еще некомпенсированной службой суммы, либо обычную терминацию последующих выплат. При этом полагавшееся за такую службу вознаграждение с легкостью обеспечивало им уплату щитовых денег, разрушая тем самым надежду монарха на персональное присутствие преемника в составе королевской свиты<sup>76</sup>.

В свою очередь местные лорды, объединяя вокруг себя, помимо прочего, потомков инфеодированных в свое время королевских слуг, именно таким образом подчиняли своим интересам не только создававшуюся с тенденцией к независимости от территориального сообщества местную администрацию, но и значительные элементы выстраиваемой короной земельной субструктуры. При этом людские ресурсы подобных свит, во многом превосходя возможности титульного домена самого лорда, создавали дополнительные условия для еще более глубокого размывания создаваемой короной владельческой структуры. Так или иначе, но уже на исходе XIII века создававшаяся на протяжении столетий опора монархии на местах заметно переместилась в направлении самих локальных сообществ, а сама система наследственного рекрути-

---

<sup>74</sup> См. дискуссию: *Coss P. Bastard Feudalism Revised // Past & Present. 1989. Vol. 125. P. 27–64; Crouch D., Carpenter D. Bastard Feudalism Revised // Past & Present. 1991. Vol 131. P. 165–189; Coss P. Bastard Feudalism Revised: A Replay // Past & Present. 1991. Vol 131. P. 190–203.*

<sup>75</sup> *Bean J. The Decline of English Feudalism, 1215–1540. Manchester, New York, 1968. P. 306–309.*

<sup>76</sup> *Waugh S. Tenure to Contract: Lordship and Clientage in Thirteenth Century England // English Historical Review. 1986. Vol. 101. No. 401. P. 811–839.*

рования королевских свит перестала быть достаточно эффективной<sup>77</sup>. Монархия все чаще и чаще использовала для своих военных походов профессиональных наемников, а институт традиционной королевской свиты закономерно распался.

Процесс разрастания и последующего исхода различных служб королевского домохозяйства сопровождался структурными сдвигами в составе его отдельных ведомств и – в первую очередь – Королевской курии. В конце XIII века значительная часть слуг, занятых обеспечением широкого круга потребностей традиционной королевской свиты, вливается в состав уже достаточно дифференцированных к этому времени хозяйственно-административных служб двора, оккупируя внутреннее и внешнее пространство Королевской курии и вытесняя тем самым внушительную по размерам группу слуг-клириков за архитектурные пределы дворцового пространства. Став частью «гражданской» придворной организации, она сохраняет за собой определенные должностные преимущества, связанные с предшествующим родом деятельности.

Оформившаяся таким образом группа придворных слуг составит «кадровую» основу для Королевской палаты, которая не позднее начала XIV века окончательно обособится от Королевской курии, а затем и поглотит значительную часть ее основных функций. Обретя независимость, штат Палаты сохранит определенные административно-хозяйственные обязанности, но в его деятельности будут преобладать особые представительские полномочия, наглядно демонстрирующие отличия королевского окружения и собственно монаршего двора от свит и дворов английской знати. Последующая ритуализация этих отличий, по всей видимости, определит не только их дальнейшую специализацию, но и эволюцию этого подразделения в направлении, финальная стадия которого и была зафиксирована в «Черной книге Эдуарда IV»<sup>78</sup>.

Несмотря на появление уже в конце XV века пока еще полуавтономного подразделения – Королевской конюшни, сложившаяся при Йорках бинарная структура распределения полномочий внутри придворного пространства останется доминировать и при Тюдорах, подчеркивая изначальное архитектурное единство «дворцовой» администрации. Ведомство шталмейстера, располагавшееся в стороне от резиденции монарха, пока лишь только «физически» объединялось с другими службами двора, когда, передвигаясь по стране или за ее пределами, король нуждался в особых инструментах, способных визуализировать в доступных формах величие принадлежавшей ему власти. Но в повседневном, ограниченном дворцовыми стенами пребывании он довольствовался ресурсами Королевской палаты.

Помимо репрезентативных полномочий, Палата объединяла все функции «матричного» управления и контроля, унаследованные от Королевской курии. Она оставалась основным депозитарием королевских драгоценностей, в ее ларцах хранились многочисленные малые печати; она была местом, где король держал совет, куда стягивались все нити придворных клиентел. Казначей Палаты был по-прежнему главным лицом в королевстве, на которого ложилось бремя управления домениальными финансами; ее секретарь не только выполнял функции связующего звена с Канцелярией и Хранилищем свитков (позднее – архивом), но и во многом инициировал центральное делопроизводство. Кроме того, Палата продолжала играть заметную роль в назначении местной администрации и сохраняла доступные к тому времени формы юстиционного контроля над прерогативными судами короны<sup>79</sup>. Объем функций мог с течением времени расти или сокращаться, но при этом Палата продолжала оставаться важнейшим звеном в системе центрального управления.

---

<sup>77</sup> Lyon D. The Feudal Antecedent of the Indenture System // *Speculum*. 1954. Vol. 28. No. 3. P. 503–511; Carpenter C. The Beauchamp Affinity: A Study of Bastard Feudalism at Work // *English Historical Review*. 1980. Vol. 95. No. 376. P. 514–532.

<sup>78</sup> Бакалдина Е. В. Департаменты, службы и должности в хаусхолде Эдуарда IV // *Королевский двор в Англии XV–XVII веков* / ред. и сост. С. Е. Федоров. СПб., 2011. С. 47–109.

<sup>79</sup> Condon M. Ruling Elites in the Reign of Henry VII // *Patronage, Pedigree and Power in Late Medieval England*. Gloucester, 1979. P. 127–129.

Судя по всему, с момента своего возникновения *Camera regis* так и никогда не была замкнутым пространством, способным сохранить известную приватность в жизни государя, и оставалась вплоть до начала XIV века единым, лишенным каких-либо, пусть даже временных, перегородок помещением. Позднее при Ланкастерах и Йорках в строительстве или перепланировке королевских резиденций заметным становится стремление заказчиков делить обычно отводимое под Палату пространство сначала на две, а затем и на три составляющие. В конце XV – начале XVI века в «номенклатуре» придворных помещений уже заметно выделяется комплекс из трех смежных комнат, по традиции именуемый все той же Королевской палатой, но на деле представляющей собой архитектурно связанные Большую (из-за размеров), Придворную и Личную палаты.

В самом начале правления Тюдоров начнется растянувшийся почти на столетие процесс сознательного разграничения планировки этих помещений, который будет сопровождаться не только попытками их более частного дробления (сначала от трех – к пяти, а затем от пяти – назад к четырем), но и обособления приписанного к ним корпуса слуг. Лежавшие в основе этих изменений мотивы могли варьироваться с учетом, к примеру, особенностей женского правления, но в их конечных результатах всегда присутствовала политическая составляющая.

Наиболее существенным решением, окончательно реорганизовавшим внутреннее камеральное устройство, стало учреждение, а затем и значительное преобразование особого штата личных королевских слуг<sup>80</sup>. Появление такой придворной службы свидетельствовало и о начале своеобразной «приватизации» монархом внутреннего пространства одного из пределов Палаты, и о попытках материализации, пусть еще примитивных спекуляций о «физическом» и «политическом» теле короля, и о возможных перспективах или «сценариях» придворного театра власти. Закреплявшееся учреждением должности особого ответственного за их деятельность лица – грума мантии<sup>81</sup>, само возникновение института личных слуг короля предполагало их последующее обособление и постепенное превращение в наиболее влиятельный сегмент служилого придворного штата. При этом сама палата обретала если не самостоятельный, то, по меньшей мере, автономный статус, расширяя и преобразуя круг обычно связываемых с

<sup>80</sup> Существуют определенные трудности с начальной датировкой этих изменений. Не вызывает сомнений тот факт, что основная часть преобразований, связанных с Личной палатой, так или иначе, приходится на период 1485–1526 годов, т. е. хронологически совпадает с годами правления Генриха VII и частично – Генриха VIII. Сложности возникают с определением точной даты ордонанса, инициировавшего отделение Личной палаты от прочих камеральных ведомств. В распоряжении исследователей нет точно датированного оригинала. Д. Старки еще в своей докторской диссертации (1973) использовал хранящийся в Коллегии герольдов список (College of Arms. Arundell MS. XVII (2)), датируя его протограф 1495 годом (*Starkey D. The King's Privy Chamber, 1485–1547. Unpublished Cambridge Ph.D. dissertation, 1973. P. 18ff*), и, следовательно, считал, что Генрих VII был инициатором преобразований. Старки также полагал, что еще одна копия ордонанса, опубликованная Ф. Гроузом и Т. Эстлом, хотя и содержала значительные интерполяции (*The Antiquarian Repertory / ed. by F. Grose, T. Astle. 4 vols. London, 1807–1809. Vol. II. P. 184–185 (текст ордонанса); P. 186–209 (интерполяции)*), была идентична в своей основной части списку Коллегии герольдов. Копия была изготовлена для Генриха VIII Тюдора его лорд-чемберленом Генри Фитц-Эланом, графом Эранделлом в 1526 году. Поскольку и в опубликованном тексте ордонанса, и в списке Коллегии герольдов нет упоминаний о джентльменах Личной палаты – службе, впервые учрежденной, как известно, Генрихом VIII не ранее 1515 года, то Старки считал это основание достаточным, чтобы предварительно датировать сам текст ордонанса периодом правления Генриха VII. Далее уже по косвенным свидетельствам он ограничивал время появления ордонанса 1495 годом, считая, что его издание должно было последовать сразу же за раскрытием заговора Пурбека (*Starkey D. Intimacy and innovation: the rise of the Privy Chamber, 1485–1547 // The English Court: from the Wars of the Roses to the Civil War / ed. by D. Starkey. London, 1987. P. 73–74*). При этом в тексте самого ордонанса и сопровождающих его документах присутствует, на мой взгляд, та ситуация, которая оставалась, согласно утверждениям самого Старки, более характерной для отношений внутри самой Палаты при Генрихе VIII, а не при его предшественнике: грумы упоминаются лишь в веренище прочих должностей и далеко неравнозначно соседствуют с эсквайрами и рыцарями Личной палаты короля; для последних даже отводится отдельный титул (P. 185–186). Связывать, таким образом, появление этого ордонанса с последствиями придворного заговора 1495 года весьма спорно.

<sup>81</sup> Я предпочитаю этот не совсем точный вариант передачи этого термина, исходя из одного возможного перевода английского слова «stool», и преследую цель избежать по возможности его исходного бытовавшего в Средние века значения («stool of ease»), тем не менее, отражавшего набор начальных «служебных» обязанностей его предшественника «yeoman of the Stool». О варианте перевода этого термина с учетом обособления четвертого камерального ведомства – Королевской спальни см.: Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество / под ред. С. Е. Федорова. СПб., 1997. С. 13.

нею полномочий, но неизменно и целенаправленно ограничивая возможный доступ к персоне короля.

По своему исходному предназначению личные слуги короля во многом напоминали появившиеся значительно ранее континентальные аналоги. Французский «*valet de chamber*» и бургундский «*valet de corps*», очевидно, служили исходными образцами для «*groom of the body*», но в своем окончательном варианте английский грум, скорее, напоминал известный тип личного слуги государя, описанный Б. Кастильоне. Оставаясь человеком простым, но наделенным от природы способностями безупречно удовлетворять ежедневные потребности своего господина, он сначала по мере своих возможностей дистанцировал, а затем и поддерживал в неизменном виде всю лишнюю необходимую в других случаях театральности повседневную жизнь монарха<sup>82</sup>.

Ее обыденность служила ограничительным механизмом для всего того, что было наполнено излишней церемониальностью и требовало уже специфических навыков. Так или иначе, но штат оставшихся за пределами личного пространства монарха камеральных ведомств, насчитывавший несколько сотен рыцарей и эсквайров, не подходил для исполнения простых, лишенных, в общем-то, нежелательных в таких случаях условностей, и как следствие предполагал необремененных социальными предрассудками исполнителей. Группа в шесть человек<sup>83</sup>, успешно справлявшаяся с подобными обязанностями, с трудом соперничала с находившимися в попечении лорд-камергера слугами, но, тем не менее, могла рассчитывать на и не снисшедшие им снисхождение и преимущества.

Со временем институциональная обособленность Личной палаты могла перерасти отведенные для нее границы. Плотная закрытая и охраняемая с двух сторон массивная дверь, продолжая символизировать наличие особой черты, разграничивавшей приватное и публичное в дворцовом пространстве, ограничивала непосредственное влияние придворных на короля, способствуя своеобразной «камерализации» принимаемых решений. В зависимости от доминирующего стиля правления она могла определять их полную приватизацию или же провоцировать появление особо приближенных личных советников, так или иначе, нарушая изначально присущие «высокой» политике куриальные черты. В этом смысле любые формы королевского совета обретали второстепенное значение, превращая самих ординарных советников в послушных агентов монаршей воли.

Сам факт появления частных советников, так называемых «*privado*» (термин Д. Морган), не только нарушал, но и создавал связанные исключительно с Личной палатой формы камерального фаворитизма. Противопоставляя их традиционно претендующей на политическую роль социальной элите, верховная власть могла рассчитывать на своеобразное «смягчение» традиционных аспектов политической борьбы, определявшейся противостоянием различных придворных фракций и – как следствие – на известную «централизацию» наиболее значимой части основанных на связях этих группировок придворных клиентов<sup>84</sup>.

Насколько можно судить, изначально круг таких советников, как правило, замыкался или ограничивался фигурой грума мантии<sup>85</sup>. Ситуация начинает заметно меняться с появлением

<sup>82</sup> Castiglione B. *The Book of Courtier*. London, 1989. P. 127. Более подробно об этом: Scaglione A. *Knights at Court. Courtliness, Chivalry, and Courtesy from Ottonian Germany to Italian Renaissance*. Los Angeles, 1991. P. 229–242.

<sup>83</sup> Их численность можно идентифицировать по более поздним свидетельствам, относящимся ко второму десятилетию XVI века, когда под влиянием «особых» обстоятельств стали известны имена «новых» грумов Генриха VIII. См.: *Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII, 1509–1547* / ed. by J. Brewer et al. 21 vols. London, 1862–1932. Vol. I. Pt. I. P. 771. (Далее – HLP).

<sup>84</sup> Обычно связанные с высокими наследственными должностями (лорд-камергер и лорд-стюард), такие клиенты, как правило, сохраняли свой потенциал, переживая сменявшиеся на троне династии, и при наличии известного противостояния могли представлять реальную угрозу для стабильности самой монархии: Morgan D. *The House of Policy: the Political Role of the Late Plantagenet Household, 1422–1485* // *The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War*. P. 25–71.

<sup>85</sup> Таковой была ситуация вплоть до 1515 года, когда должности грума мантии последовательно занимали Хью Денис и

королевских миньонов<sup>86</sup>, которые небольшими группами по два-три человека последовательно вводятся в состав палаты. При этом для большинства из них придворная карьера – обычно скоротечна: лишь только часть из них добивается серьезных результатов<sup>87</sup>. В растущем такими темпами составе Личной палаты их позиционируют сначала как грумов, затем под влиянием достаточно курьезных обстоятельств – как джентльменов<sup>88</sup>. Не позднее 1526 года наступает известный перелом<sup>89</sup>, и должностное пространство палаты обретает законченные черты. Значительно превышающий начальные размеры штат палаты по-прежнему выстраивается вокруг грума мантии, но его служебная структура упорядочивается с общими требованиями всего камерального пространства<sup>90</sup>. Джентльмены, рыцари и эсквайры Личной палаты, сохраняя за собой право на исключительный доступ в приватные покои короля, теперь свободно перемещаются по всему придворному комплексу, составляя своеобразный передвижной механизм, обеспечивающий регулярное и неизменно «персональное» обслуживание монарха. Не трудно предположить, что оттесняя в этом свободном передвижении известную часть других камеральных ведомств, личные слуги короля интегрировались в ранее закрытое для них публичное пространство, закономерно перенимая характерные для него формы театрализованной игры, приносящие элементы придворного церемониала в личные покои монарха. При этом не менее типичная для такого пространства тенденция к институциональному превосходству образующих его подразделений усложняла основные объекты не только сугубо придворного, но и в целом внутрисистемного противостояния, обеспечивая известный динамизм в становлении «государственного» управления<sup>91</sup>.

Вплоть до конца XIII века вся система королевских финансов, как известно, сохраняла куриальный характер. По мере образования Казначейства значительная часть ее патримониальной инфраструктуры обособляется и унифицируется, составляя основу для формирования публичных финансов короны. Камеральная администрация продолжает контролировать, помимо личных расходов короля, домениальные<sup>92</sup> и связанные с так называемыми прерогативными правами верховной власти денежные поступления. Не исчезают также известные со времен нормандских королей «замковые» депозитарии, хранившие персональные «сбережения»

---

пришедший ему на смену в 1510 году Уильям Комптон (HLP. Vol. I. Pt. I. P. 94).

<sup>86</sup> Термин «миньоны» в отношении личных слуг короля был впервые употреблен Э. Холлом: *Hall E. The Union of the Two Noble and Illustre Families of Lancaster and York. London, 1809. P. 598.*

<sup>87</sup> При несомненном лидерстве Уильяма Комптона такую группу образуют Николас Кэрю, Френсис Брайен, Джон Кортни, Генри Гуилфорд, Эдвард Невилл и Уильям Кэри (HLP. Vol. I. Pt. I. P. 771).

<sup>88</sup> Речь идет о приеме французского посольства в Лондоне 23 сентября 1518 года. Дело в том, что среди прибывшей на мирные переговоры делегации присутствовали шестеро *gentilhomme de la chambre* Франциска I. При этом, согласно сложившейся традиции, во время официального въезда делегации в Лондон миньоны Генриха VIII должны были гарцевать попарно с их французскими компаньонами, но различия в занимаемых ими придворных должностях не позволяли сделать этого. Сложность была решена путем прямого заимствования французского аналога для учреждения новой придворной должности при английском дворе (HLP. Vol. II. Pt. II. P. 4409). См. также описание процессии у Холла: *Hall E. The Union of the Two Noble... P. 593–594.* Какое-то время французская формула продолжала использоваться при дворе, но уже в 1621 году появилась ее привычная английская версия (HLP. Vol. II. Pt. II. P. 4512; Vol. III. Pt. II. P. 2374).

<sup>89</sup> Такой перелом фиксируется в так называемых Элтэмских ордонансах: *A Collection of Ordinances and Regulations for the Government of the Royal Household. London, 1790. P. 154–156.*

<sup>90</sup> *Carlisle N. An Inquiry into the Place and Quality of the Gentlemen of His Majesty's Most Honourable Privy Chamber. London, 1829.* Состав сформировавшейся вокруг грума мантии службы объединял собой две различные по статусу группы слуг. Наиболее многочисленными и, как представляется, гибкими в использовании оказывались джентльмены палаты – собственно миньоны, отличавшиеся также высоким социальным положением (сыновья пэров, представители семей старой родовой знати) и относительной молодостью. Д. Старки полагает, что еще в начале правления Генриха VIII они с успехом формировали так называемую молодежную «субкультуру» двора (*Starkey D. Intimacy and Innovation... P. 80*). На них лежал круг обязанностей, связанных с постепенно ритуализирующейся внутренней жизнью палаты. Собственно грумы образовывали статичную по составу группу личных слуг короля, по-прежнему не отличавшуюся благородным происхождением и занятую выполнением рутинных обязанностей.

<sup>91</sup> *Hoak D. The King's Privy Chamber, 1547–1553 // Tudor Rule and Revolution / ed. by D. Guth, J. McKenna. New York, 1982. P. 87–108.*

<sup>92</sup> *Wolffe B. The Crown Lands, 1461–1536. London, 1970. P. 54–96.*

монархов. Управляемые обычно личными казначеями-кассирами такие депозитарии составляли наиболее подвижную часть в механизме финансового сопровождения различных «частных» потребностей и начинаний государя. Сохраняющаяся на протяжении XIV–XV веков система частных королевских финансов не только способствовала сохранению известной свободы верховной власти в условиях ужесточения парламентских методов вотирувания налогов, но и во многом определяла содержание одной из составляющих приходящихся на следующее столетие камеральных реформ<sup>93</sup>.

Известно, что регулярно увеличивавшийся в первой половине XV века объем прямых финансовых операций, связанных с обслуживанием королевского двора, привел к их неизбежной централизации и образованию так называемого вестминстерского депозитария. Уже к середине этого столетия казначей Королевской палаты, продолжая формально совмещать свою основную должность с обязанностями хранителя королевского кошелька, передает функции обеспечения личных потребностей короля йомену мантии<sup>94</sup>.

В таком частичном разделении двух расходных статей камерального бюджета пока еще не было намека на предстоящее обособление Личной палаты, но тенденция на известное разобщение камеральных казначеев и самого монарха уже намечалась. Если Эдуард IV все еще рассматривал палатных казначеев в качестве основной отвечающей за его личные расходы инстанции, именно при их непосредственной помощи осуществляя необходимые перемещения «депозитных» средств для текущего использования, то Ричард III уже всецело уповал на помощь йомена мантии в мобилизации своих денежных запасов. При этом установившаяся в свое время субординация, подчинявшая все общие камеральные финансовые службы Казначейству, а личных казначеев главе соответствующего палатного ведомства, сохранялась: нарушались лишь необходимые в финансовых операциях короны многочисленные формальности.

Пренебрежение тонкостями необходимой процедуры лишь в большей мере дистанцировало верховную власть и придворного казначея, оставляя саму структуру королевских финансов неизменной. Только в условиях институционального отделения Личной палаты от прочих ведомств нарушаемая формальность приобретала черты более серьезного системного сдвига, определяя соответствующее позиционирование финансовых органов короны. В таких условиях финансовая служба Личной палаты монарха могла противопоставляться или же уподобляться другим финансовым инстанциям, контролировавшим доходную и расходную составляющие всей «экономики» королевского двора. Независимо от форм возникающего на этой почве противоборства грум/джентльмен мантии неизбежно обретал определенные связанные с этой сферой полномочия и нередко становился финансовым экспертом короля.

Механизмы такого противоборства пока еще недостаточно известны, но ранние Тюдоры, судя по всему, предпочитали вариант административного укрепления обособленной Личной палаты. В таком случае ее вновь образуемые службы выстраивались по аналогии и, следовательно, уподоблялись иным финансовым инстанциям двора<sup>95</sup>. Такие предпочтения могли определять структурное перераспределение и частичную автономизацию уже известных полномочий<sup>96</sup> и лишь затем – усовершенствование уже существовавших к тому времени альтерна-

<sup>93</sup> Dietz F. English Government Finance, 1485–1558. 2 vols. London, 1964. Vol. I. P. 101–113; Vol. II. P. 222–223.

<sup>94</sup> Судя по всему, объем финансовых полномочий, принадлежавших йомену мантии, был достаточно велик уже в последнее десятилетие правления Генриха VI. Иначе трудно объяснить, как Уильям Гримбси, занимавший этот пост более 15 лет, стал в последние годы своей жизни сначала камеральным казначеем, а затем и вторым лицом в самом Казначействе: и тот, и другой пост требовали серьезных навыков практической работы. (A Collection of Ordinances and Regulations... P. 18).

<sup>95</sup> Об этом более подробно: Starkey D. Court and Government // Revolution Reassessed. Revisions in the History of Tudor Government and Administration/ ed. by C. Coleman, D. Starkey. Oxford, 1986. P. 29–59.

<sup>96</sup> Так, Генрих VII ограничился изъятием поступлений от прерогативных прав короны, восстановив тем самым известный водораздел между доменальными и всеми прочими доходами монарха. При Генрихе VIII, напротив, финансовая деятельность Королевской палаты настолько истощилась (реформа Комптона), что потребовалась срочная реформа (Норриз). См.: Starkey D. Intimacy and Innovation... P. 83–87.

тивных органов финансового управления и контроля. Вариант перераспределения – так называемая «реформа Комптона» оказалась тупиковой, поскольку нарушила желательную в таких случаях субординацию финансовых служб и характерную для Тюдоров тенденцию к централизации основных доходов короны. Вариант усовершенствования – «реформа Норриза»<sup>97</sup>, мобилизуя финансовый потенциал свободных от камеральной опеки королевских депозитариев, способствовала их последующей де-автономизации<sup>98</sup>. Это означало, что контролируемые личными казначеями «депозиты» английских государей не только встраивались в существовавшую к тому времени систему королевских финансов, но и становились важнейшим источником ее внутреннего кредитования. Сохранявшаяся при этом автономия платежных средств Личной палаты не исключала их последующей централизации<sup>99</sup>.

Финансовому усилению Личной палаты во многом сопутствовали административные преобразования, связанные главным образом с центральным делопроизводством<sup>100</sup>. Известно, что уже во второй половине XV века с развитием практики использования королевской печати (*signet*), заменившей многочисленные к тому времени малые печати, основным «рабочим» местом королевского секретаря становится Личная палата монарха. Начиная с Эдуарда IV английские государи весьма неохотно носили ее, как требовал того обычай, на указательном пальце и предпочитали держать ее среди прочих драгоценностей в специально отведенном для этого сундуке. Как правило, ключ от небольшого ларца, в котором в бархатном мешочке лежал сам перстень с эмблемой монарха, хранился сначала у йомена, а затем и у грума мантии. Судя по всему, именно он извлекал печатку из ларца и передавал ее секретарю, а тот с согласия короля скреплял ею необходимые документы<sup>101</sup>.

Уже в начале XVI века подобная практика санкционирования государственных бумаг вытесняется использованием личной подписи монарха (*sign manual*)<sup>102</sup>. Первоначально в новых условиях секретарь по-прежнему отвечал за их подготовку и сам, возможно, при помощи клерков доставлял их в Личную палату, переправляя затем подлежащие скреплению Большой королевской печатью бумаги обратно в Канцелярию. При этом грум мантии не только сортировал доставленные документы, но и в определенной последовательности подносил их на подпись монарху.

Значительный рост объемов официального делопроизводства при Генрихе VIII способствовал перераспределению полномочий между секретарем и грумом мантии. Из-за известной неприязни короля к «бумажной работе»<sup>103</sup> значительная часть государственных документов стала визироваться без его непосредственного участия. Для этого был учрежден пост специального клерка палаты, который, владея навыками каллиграфии, воспроизводил на официальных бумагах образцы подписи монарха, которые хранил на отдельных листах грум мантии. При этом отбор соответствующих бумаг и предназначавшихся для них вариантов подписи осуществлялся совместно секретарем и грумом. При Кромвеле такие клише были заменены факсимильной печатью (*dry stamp*). Оставшаяся на хранении у грума мантии, она оперативно использовалась одним из двух деливших должностные обязанности секретаря клерком (*chef de chamber*)<sup>104</sup>. Тот не только визировал ею предназначавшиеся для этого бумаги, но и вносил

<sup>97</sup> HLP. Vol. IV. Pt. I. P. 2002.

<sup>98</sup> The Privy Purse Expenses of King Henry VIII / ed. by N. Nicolas. London, 1827.

<sup>99</sup> Elton G. The Tudor Constitution. Cambridge, 1960. P. 142–143. О сохранении тенденции при «малых» Тюдорах см.: Hoak D. The History of Tudor Court: the King's Coffers and the King's Purse, 1542–1553 // The Journal of British Studies. 1987. Vol. 26. No. 2. P. 2008–2231.

<sup>100</sup> Elton G. The Tudor Revolution in Government. Cambridge, 1953. P. 56–59.

<sup>101</sup> Otway-Ruthven J. The King's Secretary and the Signet Office in the Fifteenth Century. Cambridge, 1939. P. 39.

<sup>102</sup> Starkey D. Court and Government... P. 46–48.

<sup>103</sup> HLP. Vol. III. Pt. II. P. 1399.

<sup>104</sup> HLP. Vol. IX. P. 905.

подтверждающую такое действие краткую запись в учрежденный для этих целей регистр Личной палаты (docket book)<sup>105</sup>. Наличие такой записи считалось необходимым условием для их передачи в Канцелярию и, следовательно, являлось обязательной формальностью для инициирования любого центрального делопроизводства.

Усиление различных форм внутрикамерального администрирования в системе центрального управления не только мобилизовало оставшийся нерастроченный потенциал придворных «матричных» институтов, но и свидетельствовало о сохранении патримониальных основ верховной власти и о известных недостатках ее публично-правовых проявлений<sup>106</sup>. Солидарные механизмы использования внутрикамеральных методов администрирования, как правило, могли переплетаться с ограничивающими и персонифицирующими их инструментальную базу стратегиями. При этом реанимировались характерные для куриальной стадии развития королевского двора варианты прямого делегирования полномочий, заменявшие или оттеснявшие любые опосредованные самой системой центрального управления должностные назначения. Содержание таких стратегий усложнялось формирующимися представлениями о «физическом» и «политическом» теле короля, определяя оттенки складывавшихся таким образом предпочтений верховной власти.

Отношение к титулам знати как частицам корпоративного титула короны<sup>107</sup> позиционировало отличавшихся благородным происхождением джентльменов Личной палаты как «жемчужин», украшавших «естественное» тело короля. В повсеместно присутствующем акценте на их почти «интимной» пространственно-физической близости к государю угадывались черты, определявшие особую форму доверительных связей с монархом. При таком подходе занимаемые джентльменами должности могли восприниматься как атрибуты, а с учетом популярных в то время неоплатонических спекуляций и как акциденции «политического» государева тела, выражавшие полноту и непосредственный характер связанных с ними полномочий. Оставаясь одновременно необходимым и достаточным условием, подобные близость и полнота определяли отношение к джентльменам палаты как особому королевскому «manrede»<sup>108</sup> – особому сообществу верных слуг и единомышленников.

Возрождение ушедших в прошлое традиций королевской свиты накладывало известный отпечаток на всю систему должностных назначений джентльменов за пределами придворного пространства. Очевидно, можно говорить о существовании некоей градации, повлиявшей на характер большинства «первичных» некамеральных продвижений. Наиболее частым было использование джентльменов в качестве стюардов домениальных владений короны, а затем и конфискованных церковных земель<sup>109</sup>. При этом, как правило, особая привлекательность таких должностей определялась их потенциальными возможностями формировать за счет местных ресурсов ливрейные свиты короля и обеспечивать тем самым любые формы прямого военного или «полицейского» контроля<sup>110</sup>. Генрих VIII активно использовал таких стюардов для активизации различных звеньев крайне не развитой местной администрации, назначая их мировыми

<sup>105</sup> HLP. Vol. XI. P. 227; Vol. XII. Pt. I. P. 1315; Vol. XIII. Pt. I. P. 332; Vol. XIV. Pt. II. P. 201.

<sup>106</sup> Впервые такие наблюдения были сделаны на французском материале: *Хачатурян Н. А.* Сословно-представительная монархия во Франции XIII–XV веков. М., 1989. С. 169–181, а затем вписаны в более широкий историко-культурный контекст: *Власть и общество в Западной Европе в Средние века.* С. 8–14; 169–178).

<sup>107</sup> *Федоров С. Е.* Пэрское право: особенности нормативной практики в Англии раннего Нового времени // *Правоведение.* 1996. № 2. С. 112.

<sup>108</sup> HLP. Vol. XIII. Pt. I. P. 505. Весьма показательно, что учрежденный в ходе камеральных реформ 1539–1540 годов институт королевских гвардейцев также воспринимался как особая часть королевского «manrede» и формировался в основном из ресурсов Личной палаты монарха (HLP. Vol. XIX. Pt. II. P. 524).

<sup>109</sup> HLP. Vol. XI. P. 580; Vol. XIII. Pt. I. P. 505. Vol. XIX. Pt. I. P. 275. *Bernard G.* The Rise of Sir William Compton, Early Tudor Courtier // *English Historical Review.* 1981. Vol. 96. P. 759–762.

<sup>110</sup> HLP. Vol. I. Pt. II. P. 1948, 2051, 2301; Vol. XI. P. 580.

судьями и шерифами в графства<sup>111</sup>, развивал характерные для ренессансных дворов Европы формы «камеральной» дипломатии<sup>112</sup>.

При всем многообразии известных вариантов привлечения джентльменов для службы вне двора начальная и конечная ступень их политической карьеры заведомо ограничивались внутренним пространством Личной палаты короля, составлявшей социальное ядро раннестюартовской придворной организации. Тенденция на укрупнение социальных и административных функций палаты будет сохраняться вплоть до кончины Эдуарда VI<sup>113</sup>, затем уже в условиях женского правления она заметно ослабеет<sup>114</sup>, но уже при Якове I Стюарте обретет ранее неизвестные, но не менее выразительные формы<sup>115</sup>.

---

<sup>111</sup> *Starkey D.* Intimacy and Innovation... P. 85–86.

<sup>112</sup> Известны имена, по меньшей мере, шести джентльменов, участвовавших в «камеральном» обмене между английским и французским дворами. Каждый из них, пребывая достаточно длительное время в ближайшем окружении иностранного государя, как правило, становился членом его ближайшего окружения и наравне с другими исполнял различного рода обязанности, оставаясь при этом посланником своего монарха (HLP. Vol. III. Pt. I. P. 111, 246; Vol. III. Pt. II. P. 641, 3360, 3434). Помимо этого, джентльмены успешно внедрялись в состав дипломатических миссий, зачастую оттесняя юристов и клириков, по обыкновению, доминировавших в посольствах, или же образуя совместно с ними очень эффективные тандемы. Об этом более подробно: *Starkey D.* Representation through Intimacy // Symbols and Sentiments/ ed. by I. Lewis. London, 1977. P. 82.

<sup>113</sup> Об этом более подробно: *Loades D.* Intrigue and Treason. The Tudor Court, 1547–1558. London, 2004. P. 1–81; *Murphy J.* The Illusion of Decline: The Privy Chamber, 1547–1558 // The English Court: from the Wars of the Roses to the Civil War. P. 71–119.

<sup>114</sup> *Wright P.* A Change in Direction: the Ramification of a Female Household, 1558–1603 // The English Court: from the Wars of the Roses to the Civil War. P. 119–147.

<sup>115</sup> *Ковин В. С.* Королевский двор Якова I Стюарта: Королевская спальня, ее слуги и все остальные // Королевский двор в Англии XV–XVII веков / ред. и сост. С. Е. Федоров. СПб., 2011. С. 110–186.

## Титулованная знать и высшие государственные чины в дискурсе официальных протоколов и регламентов<sup>116</sup>

Организирующий характер так называемого права предпочтения (*law of precedence*) был общепризнанным в конце XVI–XVII веков: «философы говорят, что потеря мирского благосостояния менее мучительна для благородного человека, нежели потеря подобающего для него места и уважения»<sup>117</sup>. Остается только сожалеть, что с момента выхода капитальных исследований Кристофера Янга историография не придавала этому сюжету должного внимания, явно недооценивая его значение для анализа социальных явлений старого порядка<sup>118</sup>.

Тем не менее, в трактатах, приходящихся на начальный период стюартовского правления, содержатся многочисленные упоминания и ссылки на историю становления порядка предпочтения, отдаваемого лицам благородного происхождения. К началу XVII века связанные с предпочтением моменты не раз поднимались в дискуссиях и фигурировали в судебных исках<sup>119</sup>. Тема была почтенной по своему характеру; ее охотно обсуждали не только официалы, но и обыватели.

Сталкиваясь со свидетельствами современников о бытовавших в раннестюартовской Англии принципах предпочтения, обнаруживаешь одну примечательную особенность. Большинство ссылок на сам порядок помимо общих указаний на известную последовательность титулов и государственных чинов не содержит развернутой информации собственно о становлении самого порядка и тем более о положенных в его основу многочисленных регламентов. Обстоятельство – несколько необычное и на первый взгляд необъяснимое, если учитывать популярность самой темы и связанных с нею сюжетов.

Тем не менее, именно в самой «злободневности» темы следует искать ответа на вопрос, поскольку она способна хотя бы отчасти объяснить неразвернутый характер информации о соответствующих регламентах, на которые опиралось большинство авторов при выстраивании той или иной последовательности титулов и должностей. Они предпочитали называть или приводить текст определенных документов, подчеркивая их значимость, однако детального анализа их содержания избегали, видимо, полагая, что состав материалов был всем хорошо известен. Более того своеобразное «сталкивание» различных источников позволяло им вместе с тем вести аргументированную полемику и высказываться в пользу той или иной структуры благородного сообщества.

Среди общей массы упоминаемых памятников можно выделить несколько групп. В первую – объединялись англосаксонские регламенты, содержание которых не идентифицировалось, регламент 1399 года, известный как «Порядок всех состояний знати и джентри Англии», регламенты, составленные Джоном Типтофтом (1467), графом Риверзсом (1479), герцогом Бедфордом (1487), графом Вустером (1520) и воспроизводивший анонимную ситуацию регламент Джона Расселла, коронационный регламент Генриха VI, материалы комиссии лордов Берли и Говарда по расследованию злоупотреблений в департаменте церемониймейстера.

<sup>116</sup> Оригинальная публикация: Титулованная знать и высшие государственные чины в дискурсе официальных протоколов и регламентов // Федоров С. Е. Раннестюартовская аристократия (1603–1629). СПб., 2005. С. 79–98.

<sup>117</sup> *Segar W. Honor Military and Civil. London, 1611. P. 207.*

<sup>118</sup> *Young C. G. 1) Order of Precedence. London, 1851; 2) Privy Councillors and Their Precedence. London, 1860; 3) Ancient Tables of Precedency (n.p.; n.d.).* В последнее время в отечественной историографии отдельные аспекты права предпочтения успешно разрабатываются О. В. Дмитриевой. См. написанные ею разделы в коллективных монографиях: Двор монарха в средневековой Европе / под ред. Н. А. Хачатурян. СПб., 2001. С. 137–149; Королевский двор в политической культуре средневековой Европы. Теория, символика, церемониал / под ред. Н. А. Хачатурян. М., 2004. С. 360–383.

<sup>119</sup> Наиболее полное представление об этом можно почерпнуть из эрудитской коллекции: *Collins A. Proceedings, Precedents and Arguments on Claims and Conclusions concerning Baronies by Writ and other Baronies. London, 1735.*

Во вторую входили парламентские статуты (5Ric. II; 12Ric. II), королевские ордонансы (1477 и 1478, 1595), многочисленные грамоты и патенты. Третью группу составляли так называемые парламентские регламенты (1439, 1523 и 1539). Четвертая объединяла решения Вселенских соборов (416, 563 и 633), церковные композиции (1353) и дипломы (1068 и 1069). Наконец, последняя группа была представлена Книгой Страшного суда, «Диалогами о Казначействе» Ричарда Фитц-Нигела и рядом других документов<sup>120</sup>.

Разнообразие ссылочного аппарата в трактатах и документах первой половины XVII века было неслучайным. Дело в том, что практика публичных собраний знати, на которые распространялось действие порядка следования, достаточно широко варьировалась. Даже при английском дворе допускались искажения, связанные с отсутствием тех или иных должностных лиц и титулованных особ. Идеальной ситуации, воспроизводящей весь объем требуемого порядка, видимо, никогда не существовало. Возникавшие «неполноценные» процессии и присутствия требовали либо обоснования через зафиксированные к этому моменту прецеденты, либо официального одобрения с тем, чтобы стать очередной нормой. В этом смысле совокупность бытовавших к тому времени регламентов позволяла каждый раз обосновывать возникающую ситуацию: «наш опыт подсказывает соблюдать бдительность и предпринимать усилия для того, чтобы не нарушить традицию»<sup>121</sup>.

Постоянное обращение к повторявшимся или уникальным ситуациям объяснялось помимо прочего присутствием на подобных церемониях лиц незнатного происхождения, которые, согласно сложившимся взглядам, должны были подвергнуться отдельному или особому ранжированию. Именно на фоне «смешанных» присутствий единство благородного сообщества акцентировалось наиболее устойчиво.

Очевидно, ситуации, имевшие место в начале стюартовского правления и выдававшиеся в качестве нормы, были результатом тщательного изучения предшествующих регламентов и других документов, статус и авторитет которых обнаруживал незримое, но вместе с тем постоянное присутствие. Попытаемся восстановить возможную логику, согласно которой могли «всплывать» те или иные документы, не забывая при этом указывать на значимые моменты, связанные с их упоминанием в текстах источников. При этом традиция, сложившаяся в первой половине XVII века будет выглядеть генетически оправданной.

Начну с того, что появление ссылок на англосаксонские регламенты было связано с тем, что порядок следования или так называемое право предпочтения начинает оформляться именно в этот период<sup>122</sup>. Сохранившиеся королевские хартии демонстрируют весьма устойчивую тенденцию к закреплению определенной градации внутри королевского окружения. Для большинства памятников того времени характерно стремление представить существующую иерархию, не расчленяя клир и мирян на отдельные составляющие. Наиболее часто повторяющаяся схема рядопологает самого монарха, следующих за ним членов королевской семьи, архиепископов, епископов, аббатов, элдорменов и завершает принятый вариант ранжирования королевскими тенами<sup>123</sup>.

Смещение клира и мирских институтов уже в те времена, должно быть, считалось недопустимым и могло вызывать понятные возражения как со стороны церкви, так и светских особ, заинтересованных в соответствующем разделении. Вместе с тем описываемые в регламентах

<sup>120</sup> *Segar W. Honor Military and Civil. P. 51, 238–241, 243–244; Carter M. Honor Redivivus. London, 1676. Ch. 3. Passim.*

<sup>121</sup> *Carter M. Honor Redivivus. P. 71.* Это в особенности характерно для Сегара, более, чем его современники интересовавшегося этим сюжетом: *Segar W. Honor Military and Civil. P. 241.*

<sup>122</sup> На это обстоятельство указывают: *Carter M. Honor Redivivus. P. 52; Segar W. Honor Military and Civil. P. 207.* Конкретное содержание древних регламентов очень плохо поддается идентификации. У Стэббс приводит текст документа под названием «Of People's Ranks and Law», в котором впервые определяются нормативные представления о порядке следования среди различных социальных категорий от эрла до кэрла. См.: *Stubbs W. Select Charters. Oxford, 1913. P. 88.* Аналогичный текст приводится: *Whitelock D. English Historical Documents. C. 500–1042. London, 1979. P. 468–471.*

<sup>123</sup> *Coke E. Institutions. London, 1837. 381. (Далее – Co. Inst).*

«события» настойчиво повторяли смешанную ситуацию, которая по тем временам могла быть выгодна только усиливавшейся королевской власти. Момент, очевидно, весьма симптоматичный, если учесть схожесть положения первых Стюартов и той ситуации, которая существовала в англосаксонский период. Замечу, что желаемый для светских и духовных особ сдвиг к разграничению порядков обозначился только после того, как Вильгельм Завоеватель небезуспешно попытался внедрить куриальную модель нормандского двора и заменить ею старую англосаксонскую.

Вплоть до конца XI века особые упоминания о порядке предпочтения среди мирских чинов и титулов носили эпизодический характер, что, как представляется, было связано с отсутствием интереса английских юристов к данной проблеме в целом. Официальные памятники воспроизводили старую смешанную донормандскую модель. Исключением были лишь составлявшиеся королевскими чиновниками свидетельские списки, заносившиеся в соответствующие дипломы и хартии, но воспроизводимые в этих документах композиции в целом были случайными, а устанавливаемая в них схема все-таки неполной.

Составление Книги Страшного Суда внесло ряд существенных изменений в дальнейшее представление о механизме создания новой модели предпочтения. Ричард Фитц-Нигел в своих «Диалогах о Казначействе» впервые попытался представить порядок следования, основываясь на принципе вассально-ленной зависимости. В его схеме король возглавлял составленный по нисходящей список непосредственных вассалов в соответствии с порядком принадлежащих им достоинств<sup>124</sup>. Поскольку каждый из приводимых им списков предшествовал соответствующим реляциям по каждому графству или сотне, то связь устанавливаемой таким списком последовательности с практикой выездных сессий оказывалась вполне вероятной. Фиксируемая иерархия вассалов могла служить своего рода разъяснением или рекомендацией для столичных судебных служащих, вливавшихся в локальные сообщества: знание соответствующих регалий и достоинств королевских подданных было в этом случае не только желательным, но и в чем-то обязательным условием<sup>125</sup>.

С конца XI века заметным становится стремление короны зафиксировать принятую схему предпочтения. Это сказывается в первую очередь в том, каким образом начинают оформляться формулы, отражающие варианты официального обращения монарха к своим подданным. Известная формула «король всех архиепископов, епископов, аббатов, графов баронов, судей, шерифов и других верных подданных приветствует» была тому веским подтверждением. Иногда подобного рода обращения могли варьироваться. В некоторых случаях в них включались приоры, следовавшие за аббатами, надсмотрщики (*reeves*) и управляющие за шерифами. В целом же схема оказывалась неизменной и воспроизводила иерархию следования церковных и мирских особ.

Перечисление духовных и светских лиц в едином списке не означало, однако, обязательного условия, при котором церковные иерархи непременно предшествовали мирским или же, скажем, сохранялся старый смешанный порядок. Судя по всему, структура церковных должностей воспринималась тогда как более выверенная и устойчивая. Помимо этого значение мог иметь и весьма распространенный взгляд на градацию духовных чинов как универсальную, требовавшую от мирского порядка определенного подражания. В этом смысле иерархия светских чинов и титулов могла считаться одной из возможных модификаций церковного порядка и, следовательно, быть более подвижной. Очевидно, корона, инициировавшая такие списки, была заинтересована в том, чтобы примирить эти два представления, сделав их компонентами

<sup>124</sup> *Dialogus de Scaccario* / ed. by C. Johnson. London, 1950. P. 63–64.

<sup>125</sup> Подробнее о практике выездных судов на местах см.: *Galbraith V. H. The Making of Domesday Book*. Oxford, 1961. P. 193, 195. Гэлбрайт специально отмечает, что для списков, составленных для Ноттингема и Норфолка соответственно, характерен нетрадиционный подход к общепринятой схеме: для этих графств эрлы предостоят епископам (*Galbraith V. The Making of Domesday Book*. P. 195).

одного целого, но в этом смысле амбиции королевской власти оказывались недостаточными, чтобы окончательно преодолеть существовавшие стереотипы. Вынужденная считаться с традицией, она объединяла две иерархии, но, следуя устоявшимся представлениям, отдавала при этом предпочтение универсальному. Порядок, бытовавший в те времена, был, таким образом, очень далек от принятой на закате средних веков схемы.

В дальнейшем практика того или иного разделения светских и духовных особ в обращениях монарха развивалась далее по пути более четкой конкретизации титулов и достоинств, образующих светский порядок. При Эдуарде III к иерархии следования светских особ добавились герцоги, за этим Ричард II ввел маркизов, а Генрих VI – виконтов. Подобное «укрупнение» мирской иерархии привело к тому, что клерки, составлявшие первые журналы верхней палаты, стали перечислять духовных лордов на левой стороне листа, а светских – на правой соответственно. Должно быть, уже тогда такое разделение оказывалось идентичным распределению скамей и в самой палате<sup>126</sup>.

«Укрупнение» светской титулатуры вызывало различные споры о значимости тех или иных достоинств. При этом характерные для этих споров сюжеты очень часто переключались в соседнюю сферу, становясь предметом обсуждения и у духовных чинов. Речь идет о дискуссии о праве предпочтения в связи с двумя архиепископами, которые претендовали на особое положение в иерархии, выводя свои привилегии в соответствии с каноническим правом. Последнее, как известно, не попадало под компетенцию короны, которая была в состоянии лишь констатировать их главенство в ряду церковных чинов. Вопрос о предпочтении между обеими архиепископскими кафедрами нигде не оговаривался. Это было поводом для очень сложных по своему характеру дебатов, инициированных архиепископом Кентерберийским Лефранком и Йоркским архиепископом Томасом. Начало разногласий относится к 1072 году, когда архиепископ Томас формально признал подчинение Йоркской кафедры Лефранку и его последователям. Между тем уже в 1093 году он отказался признать преемника Лефранка Ансельма как примаса. Спор продолжался вплоть до 1126 года, когда предпочтение было отдано Йорку<sup>127</sup>. Вместе с тем папская курия оставила за Кентербери право требовать от Йорка особого подчинения. Последующие разногласия между двумя архиепископскими кафедрами всплыли заново на лондонском совете 1076 года. Они оказались настолько ожесточенными, что совет был вынужден закрыть свою работу, так и не разу не приступив к обсуждению намеченного регламента<sup>128</sup>. В 1324 году Эдуард II объявил о том, что архиепископский крест был установлен в Кентербери ранее йоркского. Превосходство кентерберийского престола было окончательно закреплено в композициях 1353 года<sup>129</sup>.

Развивавшийся спор между архиепископами привел в движение и епископскую среду. Право предпочтения было установлено между ними в соответствии с решениями Вселенских соборов (416;

563; 633 гг.), которые признавали в качестве исходного сроки посвящения в епископский сан. Исключения допускались для отдельных церквей, имеющих особые привилегии и традиции<sup>130</sup>.

Градации в среде высшего клира были закреплены на лондонском совете 1075 года. Было решено, что по обеим сторонам от архиепископов будут сидеть слева – епископ Лондона, а справа – епископ Уинчестера. В случае отсутствия архиепископа Йоркского, оба епископа

<sup>126</sup> Powell J. E., Wallis K. House of Lords in the Middle Ages. London, 1968. P. 545.

<sup>127</sup> Об этом см. подробнее: Macdonald A. Lafranc. Oxford, 1926. P. 70–94, 271–291; Brooke Z. N. English Church and Papacy. Cambridge, 1931. P. 123–125.

<sup>128</sup> Описание существа разногласий дано: William of Newburgh. Historia Rerum Anglicarum. London, 1884. P. 203–204.

<sup>129</sup> Rotulli Parliamentorum. V.1. 418a. (Далее – Rot. Parl.); Wilkins D. Concilia Magnae Britanniae. London, 1737. Vol. 3. P. 67.

<sup>130</sup> Macdonald A. Lafranc. P. 98–99.

должны будут сесть в том же порядке по обе стороны от архиепископа Кентерберийского<sup>131</sup>. Поскольку в этот период все епископства были диоцезными, то установленная советом 1075 года практика могла считаться всеобъемлющей вплоть до конца XIII века, когда папский престол стал дополнительно посвящать епископов по принципу *in partibus infidelium*, передавая при этом каждому новопосвященному титул его предшественника. Таких епископов называли титулярными (*titular*) или викарными (*suffragan*); их главная задача заключалась в оказании помощи диоцезному епископу<sup>132</sup>. С введением титулярных епископов был установлен порядок, согласно которому они следовали сразу же за диоцезными епископами.

Дальнейшие изменения в представлениях о порядке следования среди духовных лиц произошли в связи с учрежденным Эдуардом III орденом Подвязки в 1348 году. Согласно орденскому регламенту, епископ Уинчестера объявлялся прелатом Ордена, что привело к внесению изменений в сложившуюся до этого практику предпочтения. Во всех присутственных местах он должен был занимать следующее за архиепископами место и, следовательно, предшествовал всем другим епископам<sup>133</sup>. Несмотря на королевский ордонанс, епископ Лондона продолжал настаивать на своем праве предпочтения, дарованном его кафедре еще в 1075 году. Он настаивал на этом, ссылаясь на утвержденный статус его сана, в соответствии с которым он выступал как *cancellarius episcoporum*<sup>134</sup>. Дарованные конституциями Ордена статусные полномочия епископа Уинчестера противоречили и не имели ничего общего с каноническим правом, нарушали папские полномочия в определении соответствующего предпочтения. Рассмотревший этот запрос парламент 1523 года удовлетворил тяжбу епископа с уинчестерской кафедрой и восстановил прежнее право следования<sup>135</sup>. Тогда же был окончательно решен вопрос о ранжировании аббатов и приоров: теперь в официальных процессиях они следовали за епископами соответственно<sup>136</sup>. Право предпочтения в рамках этой категории зависело от дат основания монастырей, во главе которых они стояли.

Действие права предпочтения среди светских особ длительное время опиралось на порядок следования, установленный для графов и баронов еще в донормандский период. Ситуация изменилась, когда Эдуард III возвел в 1337 году своего старшего сына, сделав его герцогом Корнуоллским. Хартия, даровавшая Черному Принцу герцогский титул, не уточняла изменений, внесенных в порядок следования, так как принц в силу своей королевской крови уже имел право сидеть впереди графов. Первым герцогом, не имевшим прямых родственных связей с королевской семьей, был Томас Говард, лорд Моубри, получивший титул герцога Норфолка в 1397 году. Он с легкостью мог отстоять свое право на предпочтение перед графами, поскольку в 1382 году королевский статут (5 Ric. II. st. 2, c. 4) определил место для герцогов (тогда лишь потенциальных) при рассылке соответствующих приглашений на парламентскую сессию.

Несмотря на то, что существовавшая практика тяготела к установлению общепринятых градаций в соответствии с правом следования, достаточно сложно утверждать, что она четко осознавала границы социальной группы, к которой этот порядок адресовался. Более того, составители регламентов, должно быть, не придерживались и разграничения ее внутригрупповых различий. Безусловно, этот подход уже тогда использоваться короной в качестве дополнительного аргумента в пользу создания различных прецедентов в этой области, но ясности

<sup>131</sup> Один из таких случаев описывает Уильям Малмсберийский: *De Gestis Pontificum Anglorum*. London, 1870. P. 67.

<sup>132</sup> Первым титулярным епископом в Англии считается Августин епископ Дарема (1259) (*Thompson A. English Clergy in the Later Middle Ages*. Oxford, 1947. P. 49). О возможности использования термина «титулярный» и «викарный»: *New Catholic Encyclopedia*. New York, 1967. Vol. 11. P. 703–704.

<sup>133</sup> Конституции Ордена опубликованы: *Ashmole E. The institution, laws & ceremonies of the most noble Order of the Garter collected and digested into one body by Elias Ashmole...* London: Printed by J. Macock, for Nathanael Brooke, 1672. Appendix.

<sup>134</sup> *Willement T. Facsimile of a Contemporary Roll of the Spiritual and Temporal Peers*. London, 1829.

<sup>135</sup> *Powell J., Wallis K. House of Lords in the Middle Ages*. Pl. XIX.

<sup>136</sup> 5 Ric. II, st. 2, c. 4.

это обстоятельство тем не менее не прибавляло. Отмеченные особенности можно с легкостью продемонстрировать на примере двух дипломов, составленных еще во времена Вильгельма Завоевателя. Первый из них был обнародован в Вестминстере на Троицын день 1068 года для церкви Св. Мартина<sup>137</sup>. В конце диплома приведены подписи следующих епископов: Уильяма Лондонского, Одо, епископа Байе, Хью, епископа Лисо, Госфри-да Котанского, Гермена Шернборнского, Леофрика Экзетерского и Гизо Уэльского по порядку. Если предположить, что к этому времени епископы воспринимались как единая группа, то последовательность в соответствии с порядком следования должна быть другой: Гермен Шернборнский (1045), Леофрик Экзетерский (1046), Уильям Лондонский (1051) и Гизо Уэльский (1061), Одо, епископ Байе (1063), Хью, епископ Лисо (1065).

Второй диплом был выдан епископу Гизо Уэльскому в этом же 1068 году. Подписи епископов, содержащиеся в конце диплома представлены в следующем порядке: Одо, епископ Байе, Госфрид Котанский Гермен Шернборнский, Леофрик Экзетерский, Эгелмар Элмамский, Уильям Лондонский и Ремигий Дорчестерский<sup>138</sup>. С ним сопоставим диплом, выданный Леофрику Экзетерскому в 1069 году, в котором последовательность епископских подписей опять изменена: Одо, епископ Байе, Гермен Шернборнский, Госфрид Котанский, Гизо Уэльский и Уильям Лондонский<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Подробный текст диплома: *Regesta Regum Anglo-Normannorum*. Oxford, 1913. Vol. 1. P. 6.

<sup>138</sup> *Regesta Regum...* Vol. 1. P. 7.

<sup>139</sup> *Ibid.* P. 8.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.